

БВИ

БИБЛИОТЕКА ЗАРУБЕЖНОГО ПОЭТА

ИВ БОНФУА

Выгнутые доски

Длинный
якорный канат

БИБЛИОТЕКА ЗАРУБЕЖНОГО ПОЭТА

ГОД ОСНОВАНИЯ СЕРИИ
2005



Редакционная коллегия серии
В. Н. Андреев, Б. В. Дубин,
М. Ю. Коренева, Г. М. Кружков,
И. М. Михайлова, М. Д. Яснов (*председатель*)

ИВ БОНФУА

Выгнутые доски

**Длинный
якорный канат**

Перевод с французского,
статья, комментарии
М. С. Гринберга



Санкт-Петербург
«НАУКА»
2012

УДК 82-1
ББК 84(4)
Б 81

Бонфуа Ив. Выгнутые доски. Длинный якорный канат /
Пер., ст., коммент. М. С. Гринберга. — СПб.: Наука, 2011. —
235 с.

ISBN 978-5-02-025463-3

В том включены две последние книги стихов и прозы Ива Бонфуа (род. 1923) — одного из наиболее известных поэтов современной Франции, автора многочисленных работ по проблемам изобразительного искусства, поэтики и художественного перевода, профессора Коллеж де Франс. В обеих книгах находят продолжение основные смысловые линии его творчества, для которого характерно сочетание оригинальной образности и глубокой рефлексии над противоречиями любого образа и знака.

ISBN 271522298X (Фр.)
ISBN 9782715228054 (Фр.)
ISBN 978-5-02-025463-3 (Рос.)

- © Издательство «Наука», серия «Библиотека зарубежного поэта» (разработка, оформление), 2005 (год основания), 2012
- © М. С. Гринберг, перевод, статья, комментарии, 2012
Les planches courbes © Mercure de France, 2001
La longue chaîne de l'ancre
© Mercure de France, 2008

СКВОЗЬ СЛОВА

В очередной том «Библиотеки зарубежного поэта» вошли два последних сборника стихотворений и прозы Ива Бонфуа (род. 1923) — одного из наиболее известных и, по мнению многих исследователей, самого яркого французского поэта конца XX—начала XXI века, автора десятков книг по проблемам изобразительного искусства, теоретической поэтики и художественного перевода, профессора Коллеж де Франс, лауреата ряда литературных премий.¹ К настоящему времени этот писатель представлен на рус-

¹ Ив Бонфуа удостоен премии критики (1971), премии Монтеня (1978), Большой поэтической премии Французской Академии (1981), Большой премии Сообщества французских писателей (1987), Гонкуровской премии (1987), Большой национальной поэтической премии (1993), международной премии Чино дель Дука (1995), премии Бальцана (1995), Гринцане Кавур (1997), Джакомо Леопарди (2000), Франца Кафки (2007), Хорста Бинека (2007) и др.

ском языке лишь произведениями, изданными в прошлом веке, до 1998 года,² и новые переводы призваны восполнить возникший пробел. Оба сборника, о которых идет речь, — «Выгнутые доски» (2001) и «Длинный якорный канат» (2008) — получили высокую оценку критики во Франции и за ее пределами; правда, второй, опубликованный сравнительно недавно, еще не стал предметом обстоятельного литературоведческого анализа, зато первый в минувшие девять лет подробно обсуждался в отдельных статьях, коллективных монографиях и на международных научных конференциях. «Выгнутые доски» переведены на шесть иностранных языков; кроме того, это единственное произведение живущего в наши дни и активно работающего современного поэта, включенное наряду с классическими произведениями французской литературы в обязательную программу для старших классов лицея (бакалавриат).

Прежде чем говорить о стихотворениях и рассказах, составивших настоящий том, стоит в общих чер-

² «Стихи» (1995); «Невероятное. Избранные эссе» (1998); «Избранное 1975—1998» (2000); «Внутренняя область» (2002). Все эти книги изданы московским издательством «Carte blanche». Отдельные стихотворения, рассказы и эссе Ива Бонфуа публиковались также в журнале «Иностранная литература» в 1990—2000-х годах и включались в состав антологий. Несколько моих переводов, напечатанных ранее в «Избранном» (2000) и в журнале «Иностранная литература», вошли в настоящее издание; все они переработаны и публикуются в новой редакции.

тах напомнить взгляды Ива Бонфуа на поэзию и ее, как говорит он сам, «дело и место». Эти взгляды определялись и уточнялись на протяжении полувека, в контексте, заданном поэзией второй половины XIX века, сюрреалистским и постсюрреалистским искусством XX века и послевоенной гуманитарной мыслью в целом. Бонфуа, как и другие французские поэты XX века, наследует Бодлеру, Рембо, Нервалю и Малларме — родоначальникам литературы модерна, которые радикально изменили представления о природе поэтической изобразительности, поэтическом субъекте и поэтическом языке, покончив с химерическим стремлением к «точному» воспроизведению реальности (традиционный мимезис) и к «непосредственному», как у романтиков, выражению душевного состояния автора.³ Но ближайшими предшественниками Бонфуа являются, безусловно, сюрреалисты: в молодости он ненадолго примкнул к этому течению, поскольку чувствовал в принципиальном антирационализме Бретона и его единомышленников нечто созвучное собственному желанию противопоставить поэтическое постижение мира понятийному мышлению, которое, как он писал много позже, воспринимает «лишь внешнюю сторону вещей, но не в силах постигнуть тай-

³ См.: *John Jackson*. A la souche obscure des rêves: la dialectique de l'écriture chez Yves Bonnefoy. Paris: Mercure de France, 1993; *Caroline Andriot-Saillant*. Situation d'Yves Bonnefoy dans la poésie d'après 1945 (<http://www.lettres.ac-versailles.fr> 2006).

ну их присутствия в том месте, где нам довелось жить». ⁴

С сюрреалистами, однако, молодой поэт порвал очень быстро, поскольку не разделял их тяготения к оккультному и магическому, к различным формам мистифицирования мира и человеческого сознания. «Теперь я сказал бы, что не существует реального и сюрреального — реальности, которую упорядочивает и излишне высоко ценит точное знание, и сверхреальности, которая возвышается над научными истинами благодаря своей иррациональной природе, открывающей только стихийному, внекультурному взгляду... но что есть — иногда — *присутствие*, противостоящее текучим означаемым, которыми оперирует понятийная мысль. И я бы теперь мог лучше, чем раньше, провести границу между собой и сюрреализмом, признавая, что я полюбил предмет в искусстве сюрреалистов и образ, в котором он предстает, из-за определенного прозрения, открывшего для нас этот предмет, из-за догадки о его присутствии, благодаря которому он и находится здесь, перед нами, восстающий против любого анализа, можно сказать, сознающий себя, — но и отдавая себе отчет, что присутствие в нем как будто искажено и потому лишено своей настоящей силы». ⁵

⁴ *Yves Bonnefoy*. Giacometti et Cartier-Bresson. См.: Catalogue de l'exposition: Alberto Giacometti — Henri Cartier-Bresson. Une communauté de regards. Zürich: Scalo Verlag, 2005. P. 37.

⁵ *Yves Bonnefoy*. Entretiens sur la poésie (1972—1990). Paris: Mercure de France, 1990. P. 72—74.

Категория «присутствия» понимается писателем как особый модус бытия, схваченного в его внеязыковом, нерасчлененном единстве, а поэзия — как незаменимый инструмент познания, способный находить такое отношение между словами и жизнью, которое позволяет нам, пусть косвенно и мимолетно, этот модус ощущать и, как следствие, упрочивать наше «бытие-в-мире». Всевозможным формам отдаления от мира, будь то игровые опыты на вербальном уровне или пессимистическая резиньяция на уровне эмоциональном, Бонфуа противопоставляет глубоко онтологичную поэтику, опирающуюся на сознание смерти и бренности как основы причастности человека к бытию и на представление о земле как единственном месте нашей жизни, противостоящем в его представлении любому гностическому искушению, любому поиску «лучшего мира». Сакральный образ Земли, соотносимый с обобщенным женским божеством, уже в 1970-е годы постоянно появляется в стихах и прозе Бонфуа, становясь одним из главных элементов его «личного мифа».⁶

⁶ Этот образ занимает центральное место в автобиографической повести Бонфуа «Внутренняя область», где предмет стремлений рассказчика, место высшей жизненной полноты, оказывается связанным с женским божеством, которое на каждом этапе повествования предстает в новом облике, а в его узловой точке выступает в роли хранительницы искомого места — одновременно матери и возлюбленной, спасительницы и наставницы. См. послесловие в книге: *Ив Бонфуа. Внутренняя область*. М., 2002.

В этом смысле писатель примыкает к послевоенному «новому реализму», который в противовес сюрреалистам и их мечтаниям о поэтической магии, будто бы преображающей мир, возвращается к «простым вещам», первичным элементам реальности. Однако от таких сходных по интенциям старших современников, как Сен-Жон Перс и Рене Шар, Ива Бонфуа отличается отказ от фетишизации языка, критическое отношение к его миметической и когнитивной функции; этим острым сознанием разрыва между языком и реальностью он особенно близок к некоторым поэтам и ученым своего поколения, прежде всего к тем, кто вместе с ним в 1967—1972 годах издавал журнал «L'Ephémère» или тесно сотрудничал с этим журналом, — Андре дю Буше, Филиппу Жакоте, Луи-Рене Дефоре, Жаку Дюпену, Газтану Пикону, Паулю Целану, Мишелю Лейрису. Все они, с одной стороны, отталкивались от наследия сюрреализма, еще сохранявшего свое влияние, с другой — противостояли авторитетному в 50—60-е годы течению текстуральной и экспериментальной поэзии. Поэзия, согласно Бонфуа, служит продвижению сквозь прельщающее «маревое слов», она всегда верна поиску присутствия и как бы идет на его свет. Впрочем, он не забывает о том, что следы подлинного бытия в поэтической речи непрочны, летучи, еле уловимы, — в этом отношении показательно, что многие его стихотворения похожи на своеобразные эпитафии, «надписи на камне» (как и более ранние книги поэта, первый сборник, вошедший в

наш том, содержит ряд стихотворений, носящих одно и то же название — «Камень»; сродни эпитафиям и некоторые стихотворения из второго сборника, входящие в цикл «Почти девятнадцать сонетов»⁷).

Уже в своем раннем программном эссе «Дело и место поэзии» (1959) Бонфуа не только охарактеризовал кризис, который поэзия и лирический субъект переживали в послевоенные годы, но и включил его в более широкий исторический контекст, наметив, по меньшей мере для себя, возможный путь выхода из этой ситуации: «...сегодня поэзия возвращается к глубочайшему реализму. Но этот реализм, разумеется, не имеет ничего общего с точной, „объективной“ (как нас уверяют) каталогизацией вещей из теперешних новых романов. (...) Когда больше не существует желаний, заблуждений и страстей, то перестают быть реальными даже ветер и огонь, — обиталище небытия разрастается до размеров целого мира... Трудность для современной поэзии составляет то, что она должна одновременно определять себя и через христианство, и в противостоянии ему. Ведь бодлеровское открытие, — вернемся к этому действительно решающему повороту — открытие *вот этого* существа и *вот этой* вещи было истинно христианским: поскольку Иисус пострадал не вообще, а при Понтии Пилате, тем самым наделяя достоинством любое место и

⁷ Ср. *Patrick Labarthe. Yves Bonnefoy et la tradition des épigrammes funéraires // Cahier Bonnefoy. L'Herne, 2010.*

мгновение, наделяя реальностью каждое существо. Однако само христианство утверждает единичную экзистенцию только на краткий миг: рассматривая единичное как тварную вещь, оно возвращает его на пути Промысла и возводит обратно к Богу, тем самым вновь лишая *сущее* его абсолютной ценности.

Итак, если мы хотим довести бодлеровскую революцию до конца и поставить все еще шаткий реализм на твердые основания, нам нужно довести до конца и критику религиозной мысли, наследниками которой мы являемся. (...) ...Нужно всесторонне и как можно скорее продумать заново отношения между человеком и „косными“ вещами или же „далекими“ живыми существами, в которых из-за крушения представлений о божественности мироздания поэзия рискует видеть только материал. Иначе говоря, мы должны вновь открыть *надежду*».⁸

Как видим, уже в начале своего творческого пути, отказываясь разделить христианское вероучение, отрицая всякую религиозную мысль в ее доктринальном аспекте, как систему догматов, Бонфуа предпринимает попытку своеобразной реабилитации этой мысли, отводя поэзии роль ее наследницы, хочет, как он говорит в том же эссе, «почти приравнять друг к другу поэзию и надежду». Он помнит, что возможности поэтического слова ограничены, поскольку любой словесный акт, любой знак, любой образ изначально про-

⁸ *Ив Бонфуа. Невероятное. М., 1998.*

тиворечив,⁹ но при этом убежден, что именно поэзия может возродить и наше доверие к реальности, и ощущение неиллюзорности субъекта, помогая восстанавливать единство человека и мира, в котором «уже нет богов». Поэзия оказывается в средоточии экзистенциальных проблем, с которыми так или иначе сталкивается каждый: высвобождая сознание из тенет языка, позволяя шагнуть за пределы понятийных конструкций, вневременных по самой своей сути, она дает нам более непосредственно ощущать течение времени и более остро переживать бренность существования, а значит, и приближаться к пониманию основных жизненных ценностей, нащупывая связь с Другим, — иными словами, служит приращению потенциала любви, соединяющей людей.

Неудивительно, что предметом размышлений Бонфуа, причем не только в его многочисленных эссе

⁹ «Я называю образом то впечатление наконец полностью воплотившейся реальности, производимое на нас, как ни парадоксально, словами, которые от воплощения отстраняются» (*Yves Bonnefoy. Entretiens sur la poésie (1972—1990)*. P. 191). Ср. также более общее высказывание: «Образ можно рассматривать в связи с принципиальной двойственностью, которая присуща нам в жизни и в том, как мы ее проживаем, постоянно колеблясь между нашим „здесь“, где мы погружены в воплощение, включены в сцепленные одна с другой ситуации выбора, неотделимые от повседневного существования, и нездешним „там“, вроде бы принадлежащим к тому же миру, но на самом деле нарисованным грезами, которые освобождают это „там“ от всех ограничений, налагаемых бренностью и временем» (*Ibid.* P. 11—12).

и интервью, но и в самих стихах или в близких к ним «привидевшихся рассказах»,¹⁰ нередко становится поэзия как таковая. Может показаться, что в этом отношении его творчество вписывается в общую тенденцию, характерную для культуры конца XX века с ее явным тяготением к критической рефлексии, включающей теоретические построения в самую ткань художественного текста, но это совсем не так, поскольку Бонфуа стремится не к разрушению присутствия, неизбежному в таких построениях, а, напротив, к соприкосновению с ним, каким бы мимолетным и ненадежным такое соприкосновение ни было.¹¹

Именно этот поиск продолжается в двух сборниках, представленных в настоящем томе. Раздел «Летний дождь», открывающий сборник «Выгнутые доски», — цикл коротких стихотворений, по большей части и написанных «коротким» размером (свободным, но часто тяготеющим к шестисложнику), — связан с более ранними книгами Бонфуа и главными темами, и «местом действия»: это Вальсент, отдаленная, почти безлюдная альпийская деревня, где поэт и его жена подолгу жили в 1960-е—начале 1970-х годов.

¹⁰ См. подробнее об этой жанровой форме в послесловии к книге: *Ив Бонфуа. Избранное 1975—1998*. М., 2000.

¹¹ См.: *Yves Bonnefoy. Livres et documents*. Paris: Bibliothèque nationale; Mercure de France, 1992. P. 155—157; *John Jackson. A la souche obscure des rêves. La dialectique de l'écriture chez Yves Bonnefoy*. Paris: Mercure de France, 1993. P. 60.

Окрестности деревни и старый вальсентский дом — перестроенная и частично отремонтированная бывшая церковь, которая в течение почти двух веков (после французской революции, когда здешнее аббатство было разрушено) использовалась как амбар, — служат фоном для многих стихотворений этого раздела, опирающихся на воспоминания о той поре и окрашенных ощущением особой жизненной полноты, но при этом свободных от ностальгического сожаления о «потерянном рае». Бонфуа, как не раз отмечалось, далек от нарциссизма, от стремления выразить собственный «внутренний мир», любому самоописанию и самоанализу он решительно предпочитает уточнение связи с миром внешним.¹² Показательно, что уже в первом стихотворении цикла, двухчастной композиции «Лягушки в сумерках», фиксируется мгновение высшей, напряженной бытийной насыщенности, акцентирующее «объективность» земного мира («Открыты, закрыты ли наши глаза — / Тот же свет»), а субъект высказывания растворяется в «мы» первой части и в «они» второй части. Впрочем, и в других стихотворениях из «Летнего дождя» «я» появляется не слишком часто и тоже деперсонализуется. В этом мягком свете воспоминания, сливающим субъективное начало с объективным, почти сразу, уже в одном из начальных стихотворений раздела — «Дороги»,

¹² *Jean Starobinski. La poésie, entre deux mondes // Yves Bonnefoy. Poèmes. Paris: Gallimard, 1982. P. 11.*

возникают две символические фигуры, играющие ключевую роль в «личном мифе» автора и во многом структурирующие его книгу.

Эти фигуры — Церера-Земля, страдающая из-за невосполнимой утраты, и *ребенок*, который может ее утрату восполнить. Ребенок для Бонфуа — существо, связанное с доязыковым, дознаковым восприятием мира, он противостоит развоплощающей силе логико-понятийного мышления и служит образцом полной воплощенности, как бы персонифицирует «то, чем реальность превосходит знак», — избыток, который автор когда-то, в своей инаугурационной лекции в Коллеж де Франс, назвал божественным¹³ (в известном смысле, как увидим, ребенок и занимает в его последовательно атеистичном художественном мире место Бога). Образ ребенка, наряду с образом Земли, встречается в поздних книгах Бонфуа очень часто, становясь для них универсальным символическим ключом; имеет смысл проследить, как этот многозначный образ раскрывается хотя бы в некоторых стихотворениях и рассказах, составивших настоящий том.

Уже в «Дорогах» ребенок сравнивается с лесной тропой и в то же время с Марсием, побеждающим «простой свирелью» лиру Аполлона, бога меры и счета; разветвленное сравнение подчеркивает безыскусность, целостность и непредсказуемость ребенка: смеясь, он уводит в неведомое, туда, где «ничего нельзя

¹³ Yves Bonnefoy. La Présence et l'Image (1981) // Entretiens sur la poésie (1972—1990). P. 179—202.

различить».¹⁴ Именно эти начала, близкие к рилькевскому «открытому», das Offene, и должны служить утешению скиталицы Цереры: она может обрести «покой и блаженство» лишь в том случае, если отыщет в чуждом, недружелюбном мире нужную ей дорогу (иными словами, найдет пропавшего ребенка). Далее, в стихотворении «Пусть этот мир живет!», мизансцена, можно сказать, инвертируется: на этот раз страдает ребенок, чей образ вводится в текст через косвенное сравнение с миром, находящимся под угрозой, в пограничной и тревожной ситуации («Пусть этот мир живет, / Замирая, как время, / Когда промывают рану / Плачущему ребенку»), а в склонившейся над ним женщине угадываются черты Цереры-Исиды, тем самым выступающей в своем другом качестве: целительницы и утешительницы. Наконец, в стихотворении «На одном берегу», завершающем цикл, драгоценная для автора ситуация мгновенного прозрения абсолюта в первичных реалиях, в «простых вещах»,

¹⁴ Естественная близость ребенка и смеха находит отражение в отдельной тематической линии, связывающей ряд произведений из нашей книги: ребенок «еще умеет смеяться» («В мареве слов»), далекий детский смех, услышанный в лесу, открывает дорогу к «Театру детей» и т. п. Сюда же вписывается смех, завершающий трехчастную композицию «Бросаем камни» (и книгу «Выгнутые доски»): перед лицом не до конца проясненной и в то же время несомненной духовной опасности, которая последовательно представлена в трех частях композиции, этот смех не просто объединяет людей, пытающихся противостоять угрозе, но и сближает их с детьми.

преодоления проклятья, тяготеющего над языком, в поэтической речи («У слов не остается / Перевеса над миром, / И речь больше не будет / Ножом, пронзающим горло / Доверчивому ягненку, идущему / За тем, кто говорит») ставится в прямую связь и даже отождествляется, как явленное во всей полноте совпадение «истины и красоты», с ребенком, «входящим в беседку из лоз». Фактически ребенок здесь олицетворяет саму поэзию в том широком смысле, какой придает этому слову Бонфуа, — зеркало, способное иногда даровать необходимое прозрение, «поймать в ладони крохотное земное солнце». И вполне закономерно, что в следующих разделах книги это олицетворение закрепляется и углубляется.

Так, «далекий голос» — таинственный и бесконечно подвижный источник поэтического обновления мира, едва уловимый звук, предваряющий осмысленную речь, — уже в первых стихах одноименной поэмы уподоблен «ребенку, играющему на дороге»; это сопоставление и организует весь текст поэмы, включая ее финал, где пение далекого голоса, которому лирический субъект внимал всю жизнь, провожает его в смерть. Основные образные ряды следующей по порядку поэмы, «В мареве слов», выстраиваются иначе (в ней организующую роль играют триады «грезы — поэзия — плавание» и, соответственно, «мечтатель — поэт — Одиссей»), но ребенок ненадолго появляется и здесь, причем композиционное место соответствующего эпизода чрезвычайно значимо: он завершает пер-

ную часть поэмы, которая представляет собой поэтическую критику грез, находящих выражение в языке или порождаемых языком, и подготавливает переход ко второй части, посвященной «защите и прославлению» поэзии в современной ситуации, когда она в целом, как особая форма речи, поставлена под сомнение.

В «Родном доме» этот мифологизированный образ ребенка существенно изменяется, поскольку на него накладываются воспоминания поэта о собственном детстве, — отсюда и появление биографического «я», столь редкого в его стихах. Более того, желанный выход из призрачного пространства грез, конструируемого образами и словами, открывается здесь благодаря труду воспоминания, который соединяется с поэтическим усилием и прокладывает путь в «родные места», предстающие истоком жизни и одновременно познания мира через поэзию. Примечательная особенность этой поэмы заключается в том, что в ней рядом с фигурой матери, всегда занимавшей важное место в творчестве Бонфуа (прежде всего как одна из граней того синтетического образа женского божества, о котором уже говорилось), впервые появляется и даже выдвигается на передний план фигура отца — рабочего вагоноремонтных мастерских, умершего очень рано, когда будущему писателю было всего тринадцать лет. Сцена, воссозданная памятью, — описание наивной попытки ребенка ободрить отца, компенсировать его жизненные неудачи с помощью символического успеха, внушающего надежду, — фактически высту-

пает как дар искренней любви, встроенный в самую сердцевину сложной художественной структуры. Важно, что успех этот приносят образы («сильные карты»): давнее событие, отражаясь в пишущейся спустя шесть с лишним десятилетий поэме, предстает смысловым коррелятом самой этой поэмы, ее отдаленным предвосхищением. Поэтический акт сливает воедино универсальное и биографическое. А в финале личная судьба автора переключается в более общий план: «зов, прорывающийся сквозь слова», о котором он говорит (наверняка имея в виду оба возможных значения этого выражения: «благодаря словам» и «вопреки словам»), напоминает о необходимости сострадания к обездоленной Церере-Земле.

Особенно глубоко трактовку отношения отцовства/сыновства, как и проблема двойственности образа и знака, получают в следующем тексте, давшем название всей книге, — «Выгнутые доски». Этот короткий, всего в две странички, «привидевшийся рассказ» сводит воедино основные темы позднего творчества Бонфуа и поэтому заслуживает более подробного рассмотрения.¹⁵ Здесь автор трансформирует известный из «Золотой легенды» Иакова Ворагинского рассказ о святом Христофоре. Он снабжает своего великана

¹⁵ В анализе рассказа «Выгнутые доски» и поэмы «По-прежнему слепой» в основном следую ценной статье Ж.-И. Массона: *Jean-Yves Masson. La seconde naissance (Sur «Les Planches courbes» d'Yves Bonnefoy) // Cahier Bonnefoy. L'Herne, 2010.*

лодкой, которой у святого, переправлявшего путников через реку на плечах, не было. Тем самым великан сближается с Хароном, перевозчиком умерших, и подчеркивается решающее значение перехода, совершаемого ребенком, — с той оговоркой, что ребенок, предлагающий заплатить за переправу медной монеткой, не переходит от жизни к смерти, не покидает мир людей, а в него вступает и, как становится ясно из рассказа, рождается в полном смысле этого слова.

Включенные в образный строй произведения элементы христианской традиции радикально трансформируются; писатель не забывает об этой традиции как первичной референтной основе западной культуры, но в то же время сохраняет по отношению к ней значительную дистанцию. В самом деле, предельно обобщенные фигуры безымянного великана и безымянного ребенка в «Выгнутых досках» существенно отличаются от персонажей из «Золотой легенды»: первый не наделен чертами святости, во втором трудно усмотреть что-либо общее с Христом. Принципиально различны, несмотря на внешнее сходство, и функции основного момента фабулы — стремительного нарастания веса ребенка, которого перевозчик держит на плечах. Если в житии Христофора колоссальный вес младенца объясняется тем, что Христос благодаря своей абсолютной безгрешности способен взять на себя все грехи мира (поэтому святой и находит в нем самого могущественного владыку, какому всегда хотел служить), то у Бонфуа речь идет о тяже-

сти этического долга, который возлагает на мужчину ребенок, обращаясь к нему с просьбой об усыновлении, то есть о включении в мир людей, — иначе говоря, о подлинном рождении, более важном, чем рождение биологическое. Эта тяжесть оказывается столь большой, что опрокидывает или, точнее, аннигилирует лодку перевозчика.

Смысл исчезновения лодки, ее «растворения в темноте», проясняется, если вспомнить, что еще до начала переправы мужчина сам сообщает ребенку первичные, базисные сведения о мире, вовлекая его в эту новую среду с помощью истолкования важнейших *слов*: «имя», «отец», «мать». Но взаимопониманию мужчины и ребенка мешает обманчивость слов, их способность и указывать на реальность, и заслонять ее иллюзорными представлениями. Тот, кто называется отцом, в действительности еще не отец, это мнимая, зафиксированная лишь на словесном уровне идентичность, которая еще нуждается в надежном обосновании. А для такого обоснования одних слов недостаточно: усыновление, и соответственно принятие отцовства, должно совершиться *на деле*. Так и происходит в конце рассказа, когда великан, в последний раз ответив отказом на просьбу ребенка, шепчет: «Нужно забыть слова». Исчезающие при этом выгнутые доски, из которых сделана лодка, оказываются метафорой знаков, помогающих человеку и его сознанию переправляться через поток существования; значение этой метафоры, уже появлявшейся в двух предыдущих поэмах —

«В мареве слов» и «Родном доме», в рассказе окончательно уточняется. Сама ситуация прямой угрозы и необходимость безотлагательных действий вынуждают мужчину взять ребенка «на свои плечи» (и в прямом, и в переносном смысле), чтобы спасти его и самому спастись вместе с ним. При этом он не выражает согласия в словах и, более того, действует вопреки словам, выражающим отказ. Отцовство оказывается неразрывно связанным с прямой ответственностью, находящей выражение не в словесной формуле, а в поступке. Если с матерью так или иначе ассоциируется стихия слов и внушаемые ею сомнения (ей принадлежит решающая роль в *постижении* этой стихии, причем роль эта не всегда бывает позитивной),¹⁶ то отец воплощает преодоление любых сомнений в спасительном действии, которое по природе своей не может лгать.

Итак, в образе лодки находит отражение постоянный предмет размышлений Бонфуа — двойственная природа знака. Плавание не может начаться вне слов, поскольку язык, несмотря на принципиальную ущербность любой номинации, является единственной лодкой, в которой мы можем плыть над безднами земного существования, однако в конечном счете, когда

¹⁶ Показательна в этой связи предложенная Бонфуа интерпретация рассказа Луи-Рене Дефоре «Обезумевшая память». См. послесловие к книге: *Луи-Рене Дефоре. Болтун. Детская комната. Морские мегеры*. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2007. С. 345—349.

дело идет о просьбе, затрагивающей самую суть человеческого удела, слова должны преодолеваются в непосредственном действии, в акте любви, превосходящем любые условные знаки. В конце рассказа мы присутствуем при двух одновременных рождениях: мужчина, никогда ранее не бывший отцом, «рождается» для отцовства и в то же время дарует ребенку сыновство, которое становится для него вторым рождением. Мужчина и ребенок словно сливаются в едином субъекте, который более не нуждается в какой-либо призрачной медиации и должен сам противостоять потоку материи, реагируя на непосредственные угрозы и продвигаясь дальше в открытом пространстве, где стираются все границы. Прямой опыт взаимодействия с миром и с Другим снимает противоречия знакового мышления, которые безусловно требуют глубокого осознания (неизбежность и необходимость такого осознания автор не отрицает, его рассказ нельзя назвать гимном «простодушию» и «спонтанности»), но способны парализовать в нас деятельное начало и оторвать от жизни как таковой. В то же время «Выгнутые доски» можно рассматривать и как рассказ о природе поэзии и, шире, человеческой речи: с этой точки зрения финал символизирует не только акт любви, но и поэтический акт, на мгновение выводящий сознание за пределы слов, к присутствию мира и другого человека.

В ходе этого краткого повествования знаменательным образом перестраивается ракурс восприятия и

масштаб фигур: перевозчик, знающий слова и, можно сказать, репрезентирующий ту часть человеческого существа, которая словами управляется, поначалу кажется огромным, тогда как ребенок, сведенный к чисто экзистенциальной, внесловесной потребности и лишь желающий вступить в жизнь, в неведомый мир людей и слов, выглядит маленьким и очень легким. Но этот «перевес слов» оказывается химерическим: в конце рассказа мы понимаем, что перевозчик только казался гигантом, потому что мы смотрели на него глазами ребенка, а ребенок вырастает сообразно с высказанной им безмерной просьбой (как ни парадоксально, находящей выражение благодаря словам, которые он узнал от великана) и в этом качестве неожиданно сближается с божественным младенцем из жития святого Христофора.

Отчасти схожую диалектику умаления/увеличения можно обнаружить в поэме «По-прежнему слепой». Это еще один образец «переписанного» мифа, во многом родственной «Выгнутым доскам», — недаром два текста соседствуют в сборнике. Гипотетическая богословская доктрина, описываемая в поэме, существенно отличается от христианского вероучения, хотя и не лишена черт сходства с ним. Она идет существенно дальше, чем апофатический принцип, согласно которому Бога можно постигнуть не через то, чем он является, а через то, чем он не является, — если апофатическое богословие не отрицает наличия у Бога позитивных, пусть и непознаваемых, качеств, то

богословы из условной страны, о которой идет речь в поэме, объявляют негативность главным качеством самого Бога. Согласно их теории, Бог не всемогущ и не всеведущ, но абсолютно беспомощен и ничего не знает, он не всевидящ, а слеп, не дарует свет, но жаждет его увидеть, он не только не освящает собой знаки, но сам не имеет имени (единственное имя, какое можно ему дать, — это «по-прежнему слепой», поскольку он пребывает в постоянном и безысходном ожидании прозрения). Культ, диктуемый этим учением, представляет собой, как и само оно, логическую инверсию привычного религиозного культа: вместо того чтобы призывать к себе Бога, молить Бога открыться им, богословы заклинают его бежать от них, потому что догадываются, насколько страшна просьба, которую он к ним обращает. Фактически он просит о воплощении, отождествляемом здесь с дарованием зрения, — ведь взглядом, столь желанным для слепого Бога, обладают только смертные существа. И воплотиться это слабое божество — в котором, при всей многозначности образа, созданного поэтом, можно видеть еле ощутимое или всего лишь предощущаемое «сквозь слова» присутствие мира, его внезапное единство, его непостижимую глубину, стесненную и не находящую выхода к поверхности, — стремится в каком-нибудь ребенке, и даже больше — в любом ребенке, поскольку тот наиболее близок целостной реальности, еще не расчлененной, не раздробленной языком. Действительно, уже в начальных

стихах поэмы Бог «ищет ощупью... / Крохотное существо, что наделит его зреньем», а в конце первой ее части и предстает ребенком, которого отвергают проповедующие его богословы, и не просто отвергают — изгоняют, осыпая камнями. Ситуация отчасти похожа на рассказ «Выгнутые доски», с тем отличием, что здесь Бог-ребенок абсолютно несчастен, потому что в рассказе ребенку все же удастся добиться, чтобы его усыновили и впустили в мир.

Хотя поэзия — или, более широко, любая деятельность человека, использующая знаки, — не обсуждается в этой поэме прямо и эксплицитно, как в некоторых других произведениях Бонфуа, она и здесь остается одной из главных тем, особенно во второй части, где «богословы» разделены по их отношению к образу. Если в первой части речь идет, условно говоря, об «идолослужителях», которые замыкают своего Бога то в одном, то в другом символе, лишь бы не позволить ему воплотиться («Уйди в деревья, / Уйди в дыханье блуждающего ветра... / Нет, не так: уйди / В трепещущего жертвенного ягненка»), то во второй сначала говорится о «иконоборцах» (или, если угодно, «постмодернистах»), помогающих Богу, как они его понимают, «в разрушении», а затем о тех, кто удерживается на грани между этими двумя искушениями, не фетишизируя образ и слово, но в то же время связывая с ними определенную творческую надежду. Примечательно, что их надежда отвечает желанию того Бога, о котором эти мыслители грезили всегда и который как

будто движется ей навстречу. Их «странные», наиболее близкие автору голоса, способные вызволять из «простых слов» замурованное в них божественное присутствие — не присутствие какого-то бога, но присутствие как своеобразное божество, — приводят к встрече с ребенком, играющим «цветными камешками» (цвет у Бонфуа обычно выступает ближайшей и непосредственной манифестацией чувственного, внезнакового мира). Так, образ предельного отчаяния — гонимый и осыпaeмый камнями ребенок из первой части, до которого умалился Бог, — в финале поэмы неожиданно сменяется образом надежды, а взгляд обычного, ничем не отмеченного ребенка, на мгновение встретившегося глазами с лирическим субъектом, возвышается до значения эпифании.

Фигуры и мотивы, образующие смысловой костяк «Выгнутых досок», сравнительно немногочисленны, и при всем разнообразии их вариаций и сочетаний эта книга поэта, как и другие его сборники, оставляет ощущение редкого единства и связности художественного мира, отвечающее тому ощущению единства мира реального, которое присуще автору. Это не раз отмечали критики, пишущие о творчестве Ива Бонфуа, да и сам он заметил как-то, что всегда, с самого начала, «хотел оставаться в пределах одной-единственной книги или, лучше сказать, одного-единственного поэтического акта». Хотя состав «Выгнутых досок» на первый взгляд может показаться довольно

разнородным, читатель, переходя от стихотворения к стихотворению и от раздела к разделу, обнаруживает переключки, подхваты намеченных ранее тем, придающие целому стройность и последовательность. Смысловые акценты расставляются по-разному, различаются и просодические формы (с обычной для французской литературной традиции диффузной границей между стихами и прозой), однако в целом книга выглядит не собранием разрозненных, изолированных друг от друга произведений, а органичной и продуманной композицией.

«Длинный якорный канат», второй сборник, вошедший в наш том, подтверждает это общее впечатление. В самом деле, в фокусе большинства «привидевшихся рассказов», составивших основной корпус этой книги, и сравнительно немногочисленных стихотворений, включенных в ее состав, находятся те же образы и темы, которые мы обсуждали выше.¹⁷ Это в первую очередь *ребенок* как средоточие и тайна жизни, источник ее постоянного обновления — достаточ-

¹⁷ Особняком стоит, пожалуй, «Беспорядок», с его квазитрагическими «голосами», однако и здесь за различными ситуациями горя, бедствий и взаимного непонимания, в которые говорят персонажи, просматривается одна из стержневых тем Бонфуа — «лживость и истинность слов». Последнее стихотворение цикла обращается к этой теме напрямую, в нем впервые звучит голос лирического субъекта, который сохраняет веру в оживание, «размораживание» речи: «Смотри, бежит, еле слышно журча, / Вода в ручье, / А ведь помнишь: еще вчера была / Намертво скована морозом».

но назвать, скажем, малыша, «который хочет вернуться», из рассказа «Америка» или появляющихся в конце рассказа «Божественные имена» детей, которые «знают, в чем дело» (примеры можно умножать, особенно если обратиться к разделу, носящему красноречивое название «Театр детей»). Далее, в таких стихотворениях, как «Прохожий, хочешь узнать?» или сонете «Осмеяние Цереры», это *женское божество*, в котором так или иначе проявлены черты скитающей и страдающей Земли. Наконец, это *поэзия* как особая форма познания мира, способ преодоления внутренней противоречивости языка и его знаков, средство внутренней критики «прекрасных грез», нашего воображения, порождающего образы, но вместе с тем и частичного их оправдания: критикуя абсолютизируемый, тотальный Образ, стремящийся подменить собой мир, Бонфуа оправдывает образы частные, «с маленькой буквы», видит в них путь к воссоединению сознания с целостностью жизни.

В этом смысле показательна поэма «Длинный якорный канат», давшая название книге. Здесь автор вновь «переписывает» или, точнее, модифицирует миф, сопоставляя со средневековым преданием о кораблях, плавающих в небе, описание реально существующего и сохранившегося до наших дней древнего культового сооружения — судна из каменных глыб. Этот «корабль желанья», построенный легендарным королем, устремляется в даль мечты, в мир предельной жизненной полноты и насыщенности, пытаясь, в сущ-

ности, реализовать тот же порыв, каким направляется поэтическая речь; однако в пространстве грез этот порыв так и не находит разрешения, корабль «летит на месте», и мы вместе с лирическим субъектом лишь пытаемся «разглядеть сквозь неподвижность движение», о котором мечтал строитель. Только в последней строфе, где мечтой начинает управлять живая реальность в лице «простого бессловесного существа» — птицы, севшей на камень, которым обозначен нос судна, и ставшей чем-то вроде капитана, — «каменный корабль» действительно снимается с места, пусть это и происходит лишь в восприятии наблюдателя, захваченного движением бесчисленных птиц, кружащихся над валунами.¹⁸ Используя то обстоятельство, что святилище Ales stenar составлено из отдельно стоящих камней, автор делает этот памятник метафорой поэтического произведения, способного превращать дискретное в континуальное, выражать посредством фрагментарных образов — или, говоря более широко, единиц языка — слитность и единство мира, приоткрывать неделимое, таящееся за разрозненным.

Впрочем, поэт помнит, что выход за границы мечты и прикосновение к реальности всегда остается неполным, мгновенным и мимолетным. В сонете «Одис-

¹⁸ Стоит вспомнить, что в стихотворении «На одном берегу» представлена прямо противоположная ситуация: слова, имеющие «перевес над миром», умерщвляют реальность, которая покорно следует за ними, как жертвенный ягненок.

сей проплывает мимо Итаки», где вновь появляются знакомые нам темы поэзии-плавания и поэта-Одиссея, ностальгическое желание возвращения в «родной дом» оказывается иллюзией. Одиссей, проплывая мимо желанной Итаки, оставшейся позади, за кормой, вынужден направлять свой корабль к «другому берегу», и этот далекий остров, выходящий из мглы неизвестности, парадоксальным образом оказывается новой, хотя и временной, родиной: именно там играет ребенок, которым скиталец «был здесь». Поэзия позволяет уходить в неведомое и находить там новое, которое оказывается изначальным, — но ее прозрения, никогда не бывающие окончательными и вполне надежными, лишь побуждают продолжать поиск.

Марк Гринберг

ВЫГНУТЫЕ ДОСКИ

ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ

ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ

ЛЯГУШКИ В СУМЕРКАХ

I

Хрипло кричали в сумерках
Лягушки: там, где, бесшумно
Струясь из бассейна, блестела
Вода в траве.

И красным было небо
В пустых бокалах. Лунная
Река разливалась
По земному столу.

Берем что-то или не берем —
Тот же избыток.
Открыты, закрыты ли наши глаза —
Тот же свет.

II

Вечерами они допоздна сидели
На террасе: оттуда в небо

Убегали, мерцая белым песком,
Бесчисленные дороги.

И так сияла нагая звезда
Перед ними, так близко
Придвинулась эта грудь
К жаждущим губам, —

Что, казалось, умереть
Совсем просто:
Отвести ветвь и достать
Золото спелого инжира.

КАМЕНЬ

Наше утро всегда начиналось так:
Я выгребал из очага золу, шел за водой,
Ставил кувшин на пол,
И тут же всю комнату наполнял
Непостижимый запах мяты.

О воспоминанье,
Твои деревья стоят в цвету,
Отделяясь от темного неба.
Кажется, что падает снег,
Но гром уходит все дальше по дороге,
Вечерний ветер осыпает излишек зерен.

КАМЕНЬ

Все было бедным, безыскусным, способным
В любую минуту преобразиться.
Мебель в комнатах — простая, как камни.
Нам нравилась трещина в стене: колос,
Вокруг которого роились миры.

Облака сегодня на закате —
Те же самые, привычные, как жажда,
Та же красная ткань, ее сдвинутый край.
Прохожий, представь себе, как изо дня в день
Мы все начинали сначала,
Как были нетерпеливы, как доверялись друг другу.

ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ

I

Но вот из наших воспоминаний
Самое дорогое, нет,
Самое беспечальное: внезапный, короткий
Летний дождь.

Мы шли медленно, мы
Шли в новом мире,
Жадно глотая
Запах травы.

Земля,
Тебя облепляла ткань дождя, —
Так воображенье художника рисует
Женскую грудь.

II

И, едва он кончился, небо
Нам даровало
Золото, о котором мечтали
Все алхимики мира.

Мы тянулись к сверкавшим деревьям
И его касались руками,
Нам нравился его вкус,
Вкус чистой воды.

А когда мы под вечер сгребли
Палые листья и ветки,
Хлынул дым, потом вырвался огонь, и в нем —
Тот же червонный блеск.

КАМЕНЬ

Нас что-то таинственно побуждало спешить,

Мы вошли в дом, открыли ставни
Во всех комнатах, узнали стол, очаг,
Кровать. В окне разрасталась звезда.

Мы слышали голос, велевший нам
Любить в разгаре лета друг друга так,
Как играют дельфины в безбрежной воде.

Будем спать, ни о чем не помня. Грудь
Прижата к груди, рука в руке, без снов.

КАМЕНЬ

Мы дарили себя друг другу в чистоте сердца.

Этот огонь пылал долго, хотя сгорали
Всего лишь два тела. Наши босые ноги
Ступали по беспмятной траве. Мы были
Иллюзией, зовущейся воспоминаньем.

Зачем собирать твою разметанную золу,
Костер, вспыхивающий сам собой?
Пришел день, и мы отдали то, чем стали,
Еще более широкому пламени
Закатного неба.

ДОРОГИ

I

Дороги: прекрасные дети,
Бежавшие нам навстречу,
Среди них — босоногий малыш, со смехом
Ступавший по жухлым листьям.

Нам нравилась его привычка
Появляться с опозданием —
Что ж, позволено не торопиться,
Когда замирает время,

Издали с радостью слыша,
Как он, ребенок Марсий,
Простой свирелью побеждает бессильного
Бога меры и счета.

II

И он уводил туда,
Где все сильнее темнело,
Шел чуть впереди, озираясь
На нас, спешивших следом,

То и дело смеясь, ветви
Лесных дичков отстраняя,
На них зажигая беглым касаньем
Мелкие плоды,

Шел туда, где уже ничего
Нельзя различить, но, захвачена
Его песнью, рядом летела, танцуя,
Светящаяся пчела.

III

Наверно, встречи с ним ждала
Церера, когда, обливаясь
Потом, глотая дорожную пыль,
Скиталась из края в край.

Она могла бы на этой тропе
Найти покой и блаженство,
В светлом сумраке узнавая
То, чего так долго

Была лишена, — и с радостным криком
Прижать к груди ребенка
И, засмеявшись, унести
В жарких руках,

Вместо того, чтобы вновь и вновь,
Под шумящими деревьями, ночью,
Остановливаться и стучать
В глухие двери.

ВЧЕРАШНЕЕ, НЕЗАВЕРШИМОЕ

Наша жизнь: дороги,
Зовущие нас, манящие
В прохладу лугов,
Где блестит вода.

А иные блуждают, вьются
Над верхушками деревьев —
Так ищет во сне наша мечта
Новую землю.

Бредут, неся полные горсти
Золотой пыли,
Потом разжимают пальцы
И наступает ночь.

КАМЕНЬ

Наши тени, скользившие по дороге,
Проступали ярче, ложась на траву,
Изламывались на камнях.

С громким криком тени птиц
Их пересекали, а иногда
Застывали рядом,
Там, где наши головы почти соприкасались,
Потому что мы хотели
Что-то сказать друг другу.

КАМЕНЬ

Здесь нет для нас больше дорог, только трава по грудь,
Нет брода в ручье, только вязкий ил,
Нет застеленной кровати, только
Смыкают свой круг, нас тесня,
Тени и камни.

Но светла эта ночь: мы бы хотели,
Чтобы такой была наша смерть.
Все яснее видны деревья, они
Расступаются. Их листва как песок,
Нет, уже как пена.
Даже по ту сторону времени занимается день.

ПУСТЬ ЭТОТ МИР ЖИВЕТ!

I

Выпрямляю сломанную
Ветвь. Листья
Набухли водой и мраком,
Как это небо, еще

Предрассветное. О земля —
Разноречье знаков, разбеганье дорог, —
Но сквозь все рекою
Струится твоя красота.

Пусть этот мир живет
Наперекор смерти!
Прижавшаяся к ветви
Серая оливка.

II

Пусть этот мир живет,
Пусть окаймляет и завтра
Зреющую завязь
Безукоризненный лист!

И пусть всегда на рассвете,
Лишь только раздвинется небо,
Из-под амбарной крыши
Выпархивает пара

Удодов, перелетая
В край волшебных преданий,
И снова все замирает
Еще на час.

III

Пусть этот мир живет!
Пусть речь, как и прежде,
Вызволяет из небытия
Простые вещи.

Пусть она станет для него
Тем же, что краска для тени,
Золото спелых плодов для золота
Сухих листьев.

И пусть они разлучатся
Только со смертью,
Как уходят блеск и вода из ладони,
В которой тает снег.

IV

Пусть все, чем наполнено зренье,
Не блекнет, не угасает,
Как меркнувшее небо
В пересохшей луже.

Пусть этот мир живет
Так же, как в этот вечер,
Пусть не мы — другие вечно
Подносят к губам этот плод,

Пусть этот мир живет,
Пусть вечно в пустую комнату
Тянется, сияя,
Летних сумерек пыль.

И вечно по дороге
Струится
После короткого дождя
Вода, напоенная светом.

V

Пусть этот мир живет,
Пусть не наступит день,
Когда слова превратятся
В расклеванные кости,

Над которыми, крича,
Разлетаясь, вьются, грызутся
Хищные птицы: тьма,
Вторгшаяся в свет.

Пусть этот мир живет,
Замирая, как время,

Когда промывают рану
Плачущему ребенку,

А потом, вернувшись
В темную комнату, видят:
Он задремал и тихо спит.
Ночь, а светло.

VI

Пей, говорила женщина,
Склоняясь над ним, когда
Он, разбившийся в кровь, плакал
И ждал утешенья.

Пей, и пусть сдвинет твоя рука
Мое красное платье,
Пусть губы прильнут к моему
Целебному жару.

И уже почти не жжет
Твоя рана, пей же
Эту воду, этот
Грезящий дух.

VII

Земля подошла к нам
С закрытыми глазами,

Словно прося, чтобы ей протянули
Руку поводыря.

И сказала: пусть нечто
Неуловимое сблизит
Ваши чуткие голоса, —
Большого вам не надо.

Ваши тела пусть ищут брод
Здесь, на разливе времени,
И руки ваши ничего
Не знают про дальний берег.

Пусть в истоке, где нет ничего,
Рождается ребенок
И проходит сквозь ничто —
Из лодки в лодку.

VIII

И еще: лето
Пролетит мгновенно,
Но это мгновенье будет для вас
Полноводной рекой.

Потому что не время,
А лишь желанье подвластно
Хищному забвенью
И разъедающей смерти.

Смотри: на мою нагую грудь
Льется свет, рисуя
Неясные, темные картины —
То одну, то другую.

ГОЛОС

I

Все это, мой друг,
Жизнь: то, что скрепляет
Вчерашний день — наш морок, призрак,
И завтрашний — наши тени.

Все это: то, что было нам
Так близко, но оказалось
Всего лишь ковшом ладоней,
Из которых уходит вода.

Вот это, и все? Тем полней
Наше счастье —
Удод, грузно взлетевший
Из впадины между камнями.

II

И пусть наша жизнь будет
Такой же, как небо,
С красками и тенями,
Тающими, мелькающими,

Но и в этой сумятице
Облачной схожими
С лицом новорожденного —
Молнией, которая

Еще не проснулась
И спит безмятежно,
Улыбаясь, будто на свете
Нет и не было слов.

КАМЕНЬ

Они жили во времена, когда слова оскудели,
Смысл уже не сквозил в нестройных звуках,
Дым валил все гуще, затмевая пламя,
Они боялись, что радость никогда не вернется.

Они уснули. Мир не оставил им надежды.
Сквозь их сон проплывали воспоминанья,
Словно лодки в тумане, прибавляющие света
В фонарях, прежде чем уйти в речную даль.

Они проснулись. Но трава уже почернела,
Хлебом будут для них тени, питье — ветер,
Обручальными кольцами — отчужденье, молчанье,
И не согреет охапка ночных ветвей.

* * *

Сдвигаю носком
Самый большой
Из этих камней: быть может, под ним
Прячется что-то живое.

Так и есть, кишат,
Бросились врассыпную,
Неожиданно ослеплены
Слишком ярким солнцем.

Но вот уже схоронились, скрылись
В густой траве.
Я лишь слегка потревожил эту
Безотчетную жизнь.

Какой прекрасный сегодня день!
Я и сам не знаю, стоя
Посреди вечерней дороги,
Живу ли еще на свете.

* * *

Равно исчезают
Желанья и обретенья,
Если взвесишь, почти нет различья:
Быть или не быть.

И шагать: этой,
Той ли дорогой —
Так, не спеша, бредет летучий
Дождь по траве.

Любой запах, вкус, цвет —
Греза, одна и та же.
Голубки в далекой дали
Тихого воркованья.

КАМЕНЬ

Он помнит себя
С тех пор, как земные ладони сжимали
Его голову и, притягивая, клали
На колени, струившие вечное тепло.

Время затишья, полного грез,
Не смущаемого ни единым желаньем,
Беззвучная легкая зыбь юной жизни.
На веках лежат светящиеся пальцы.

Но вечернее солнце, лодка мертвых,
Уже приблизилось к окну, ища причал.

КАМЕНЬ

Все эти книги он порвал в клочья.
Загубленная страница: но свет
Ложится на нее, прибывающий свет.
Он понял, что вновь стал белой страницей.

Он вышел из дома. Истерзанный лик мира
Сиял, ему показалось,
Другой, более человеческой красотой.
Рука неба искала его руку среди плясавших теней.
Камень, на котором вы видите
Его постепенно исчезающее имя,
Распахнулся, становясь звучащей речью.

Прохожий, вот слова. Но я хочу, чтобы ты
Не столько читал, сколько слушал: этот слабый
Голос букв, поглощаемых травой.

Склони слух, сумей расслышать, как пчела
Блаженно пьет сок из наших стершихся имен.
Вьется, летая с этих листьев на иные,
Переноса шелест настоящих ветвей
На те, что купаются в незримом
Золоте, мягко сочащемся сквозь них.

Потом различи еще более тихий
Бесконечный шепот наших теней.
Он поднимается из-под плит, сливаясь
В единое тепло со слепым светом,
Частью которого остаешься и ты,
Ибо сохраняешь способность глядеть.

Внимай с легким сердцем! Безмолвие — порог,
И на этом пороге, в тот миг, когда
Неслышно ломается ветка под твоей
Рукой, расчищающей надпись на камне,

Наши забытые имена умеряют
Твою тревогу. И для тебя, в раздумьях
Идущего прочь, «здесь» перетекает
В «там», но все же остается собой.

* * *

На камне, покрытом
Пятнами мха, зыблется
Тень. Как будто
Танцуют нимфы.

И стоит скользнуть
Лучу солнца, их косы
Вспыхивают: золото
В темном сосуде.

Жизнь приходит к концу,
Жизнь не исчезает.
Так играет ребенок
Среди бесчисленных грез.

ДОЖДЬ НАД БАЛКОЙ

I

Сеется дождь над горной балкой, над миром.
На крыше

Амбара сидят удоды: наверхья
Блуждающих колонн из тонкого пара.
Рассвет, будь к нам благосклонен и сегодня.

Я уже слышу, как проснулась
Первая оса, далеко, в теплой
Мге, затянувшей дорогу, на которой
Там и тут блестят лужи. Безмятежно
Она, невидимая, что-то ищет. Я как будто
Тоже там, я слушаю. Но жужжанье
Нарастает лишь в мысленных картинах. И дорога
У меня под ногами — больше не дорога,
А всего лишь сон. Мне все это снится:
Оса, удоды, туманная морось.

Я любил выходить из дома на заре. Время
Дремало в очаге, уткнув лицо в золу.
В комнате наверху ровно дышали
Наши тела, которые приоткрывала
Убывающая ночная темнота.

II

Летние дожди по утрам, незабываемый
Плеск, когда тянуло рассветной прохладой
В окно сновиденья, — и спящий разлучался
С самим собой, ошупью
Ища в шуме падавшего на мир дождя
Другое, еще дремлющее тело, его тепло.

(Гул воды на черепичной крыше, накаты ливня,
Комната плывет рывками
По вздымающейся световой зыби.
Гроза
Облегла все небо, из короткого
Неистового крика вырвалась молния,
И рассыпаются сокровища грома.)

III

Встаю, вижу: за ночь нашу лодку
Развернуло. В очаге
Почти дотлели угли. Холод
Гонит небо гребком весла.

И вся водная гладь стала светом —
Но что под ней? Белесые коряги, сучья,
Похожие на путаный сон, камни,
Закрывшие глаза под напором теченья,
Улыбающиеся в объятьях песка.

НА ОДНОМ БЕРЕГУ

I

Иногда случается зеркалу
Между небом и комнатой
Поймать в ладони крохотное
Земное солнце.

И мы видим: названья и вещи
Соединяются, будто
Все пути, все надежды сошлись
На одном берегу.

Кажется, что в низовьях
Этого тихого потока
У слов не остается
Перевеса над миром,

И речь больше не будет
Ножом, пронзающим горло
Доверчивому ягненку, идущему
За тем, кто говорит.

II

Мечтаем, что красота
Станет истиной, с нею слившись

В земной яви: ребенок,
Входящий в беседку из лоз.

Удивленный, он встает
На цыпочки и, радуясь
Ярчайшему свету, тянется
К алой грозди.

III

Позже мы услышим, как он,
Замкнувшись в своем голосе,
Поет вдали: словно бредет
Нагишом по берегу моря

И держит зеркало, а в нем
Все, что в небе, могучими лучами
Пронзает насквозь, расцвечивает заново
Все, что на земле.

Впрочем, он то здесь, то там
Застывает на месте,
Рассеянно гоня ступней
Воду внутри песка.

ДАЛЕКИЙ ГОЛОС

I

Я слушал, потом испугался, что больше не слышу,
Как он говорит со мною иль сам с собою:
Далекий голос, ребенок, играющий на дороге.
Но уже стемнело, кто-то зовет оттуда,

Где лампа горит, где дверь скрипит, отворяясь
Шире, и луч, вырываясь наружу,
Вновь освещает песок, на котором тень танцевала,
Домой — шепчет кто-то — поздно, иди домой.

(Домой, прошептали, и я не понял, кто там
Зовет, окликает из глубины веков,
Что за мачеха, без памяти, без лица, что за
Боль, пронзившая еще до рожденья.)

II

Иногда я слышал его за стеной.
Я не знал о нем ничего, знал только, что это ребенок.

Долгие годы, чуть не всю мою жизнь длилась
Его песнь: лучшее, что я помню на свете.

Он пел, если это зовется пением, — нет, скорее
Позволял словам медленно блуждать
Между голосом и языком, как будто
Нащупывая в потемках дорогу.

Даже и не словам: порой это был всего лишь
Звук, из которого речь хочет родиться,
Равно причастный и тени, и свету,
Еще не музыка, уже не шум.

III

И я любил этот голос, любил этот звук,
Оболочку, внутри которой мир молодеет,
Звук, связующий то, что дробят слова,
Прекрасный запев — там, где все прервалось
и смолкло.

Короткий слог, и следом за ним долгий,
Нерешительный ямб — но уже готовый набрать
Воздуху в грудь и сделать шаг, ведущий
Туда, где наконец возникает смысл.

Так в душе загорается свет, когда,
Прикрывая фонарь у груди ладонью,
Из комнаты быстро выходишь в ночную тьму
Навстречу еще одной пляшущей тени.

IV

И жизнь прошла, но тебе не дала заглохнуть
Моя иллюзия, чьи умелые руки
Отбирают воспоминания, чтобы стачать
И почти незаметно зашить прорехи.

Одна беда: этот красный лоскут, что с ним делать?
Как ни двигаешь в памяти годы, картины,
Все на него нападешь, и слезы подступят к глазам,
Осекаешься на когда-то сказанном слове.

Говорить, едва ли не петь, мечтая о чем-то
Большем, чем музыка, потом замолчать,
Как ребенок, которого охватила досада,
Прикусивший губу и отвернувший лицо.

V

Он пел, но так, словно спрашивал себя:
Кто вытащил на берег лодку,
Кто положил на песок весло,
Кто, неведомый, прошел мимо нас?

Кто оставил здесь след босой ноги,
Кто рассыпал по воде цветные блики,
Кто не дал угаснуть огню под пеплом,
Кто нарисовал это детское лицо?

Песнь была простая, всего несколько нот:
Кто хочет, чтобы слова умели петь?
— Никто не хочет, никого здесь не было, никто,
Нам неведомый, здесь не проходил.

VI

И никто не отпил из стакана, который
Я ставлю на стол, не надкусил плод,
Лежащий рядом. Тихий ветер
Шевелит пыльную придорожную траву.

Лето: недолгое ослепленье. Так тает,
Едва выпав, легкий снежок. И мы
Ничем не омрачаем яркого сиянья
Отвердевшей воды, что вскоре испарится.

Потому и безмятежны, даже веселы эти
Мгновенья, знающие: больше нет ничего.
Снежинка — рука, взявшая стакан,
Снежинки — лето, небо, воспоминанья.

VII

Не умолкай, танцующий голос, извечно
Журчащая речь, дыханье слов, — ты умеешь
И расцветивать, и развеивать вещи
Немеркнущими летними вечерами,

Ты видимости придаешь бытие,
Их смешиваешь, как хлопья одного снегопада,
И почти обрываешься, когда наша мечта,
Слишком жадная, предвкушает обладанье.

Порхая, смеясь, ты будешь нас обнимать,
Ты заставишь наши веки смежаться, — а позже
Мы увидим знаки, которые, танцуя,
Ты босой ногой начертил на песке.

VIII

Не умолкай, близкий голос: еще светло,
Свет даже красивей, чем прежде. Выйди снова
Из дома, маленький танцор. Если хочешь
Танцевать, пусть и в одиночестве, смотри:

Песок освещен так ярко, что ты
Можешь играть со своею тенью
И, больше не боясь, подавать руку смеху,
Гаснущему в просветах между деревьев.

О музыка, о рокот неисчислимых миров,
Не этого ли ты желала в тот вечер,
Когда, говорят, тебя спуститься в зал
Позвала с замирающим сердцем Любовь?

IX

Он пел: «Я есть, меня нет, я держу
За руку другого, остающегося мной,
Я танцую среди своих теней: у одной
Нет лица, она смеется, смотрит на меня.

Я танцую на дороге со своими тенями,
Я живу для них, лишь в них моя радость,
Хоть и знаю: еще до рассвета клинок
Изрежет ткань нашего танца.

И я поворачиваюсь к самой неловкой,
Неуверенной и как будто смущенной,
Прячущейся за другими, в музыке, — видишь,
Я только для тебя смеюсь и танцую».

X

Да, это была тень: причудливый контур,
Вычерченный словами на небе, —
Так сливаются, клубясь, облака и деревья
В тихой реке, когда близится вечер.

Тень, но на земле ей нет равных, ведь она
Из всех простых вещей набирает воду,
И та бежит, пахнувшая листвою, через край
Кувшина, опущенного на гулкие плиты.

XI

Он пел, и эта песнь помогала
Приблизить к концу мой долгий спор с собой.
Я коснулся его рук, я смотрел, как его пальцы
Пытаются распутать незримые узлы

Зримой нити. Кто он, этот ребенок,
Перед домом играющий на дороге,
Слуга, оберегающий весь мир? Быть может,
Он похож на Парку, которая не губит,

Обрывая жизнь, а уводит под деревья,
С улыбкой говоря идущему рядом:
«Слышишь, слова постепенно умолкают,
Остался только шум, но стихает и шум?»

В МАРЕВЕ СЛОВ

I

Вновь, и в этом году, дремота лета:
Золото, которого мы просим
Всей глубиной наших голосов,
Когда воображенье, раскалив тигель,
Переплавляет свои металлы.
Гроздь окрестных гор, садов, рощ
Созрела, почти стала вином,
Земля — нагая грудь, и на ней
Мирно покоится наша жизнь,
Овеянная ласковым дыханьем.
Это летняя ночь, ночь без берегов,
С ветви на ветвь скользит легкий огонь.
Подруга, перед нами
Новое небо, новая земля,
Две дымки сливаются, встречаясь
Над рекой, разделившейся на два рукава.

И вновь мы слышим соловья, пока
Нами еще не завладели сны.
Он пел на острове, где Одиссей,

Чьи скитания на время прервались,
Тоже погружался в сон, как мы,
И по всему его земному пути,
Лежавшему под усталой головой,
Словно рука, согнутая в локте,
Пробегал трепет воспоминанья.
Думаю, он дышал ровно, предаваясь
Покою, сменившему наслажденье,
Но Венера, первая вечерняя звезда,
Уже повернулась, пусть не сразу,
В сторону открытого моря,
Затянутого тучами, а потом
Медленно поплыла в небесах, —
Лодка, в которой гребец, наверно,
Загляделся на другие светила, позабыв
Снова опустить весло в ночную тьму.

Что же явилось ему в этом виденье?
Может быть, какой-то плоский берег,
Где светлые тени проступают из светлой
Ночи, озаренной иными огнями,
Не похожими на те, что мерцают
В тумане наших блужданий,
Сквозь завесы, которые мы прорываем
Одну за другой, вplывая в сон?
Мы корабли, несущие, как груз,
Самих себя: все, что нас переполняет,
Наглухо замкнуто, и мы глядим
На черную ширь перед бушпритом,
Похоже, готовую разомкнуться,

Но нет, не хочет, никогда не поддастся
Эта вода, не знающая берегов.
Впрочем, он, зарываясь в складки
Печальной песни соловья
На острове, куда попал случайно,
Уже думал о том вечере, когда
Снова вспенится вода у бортов
И он снова возьмется за весло, чтобы
Навеки забыть все острова
Среди моря, над которым все крупнее
Становится одна из звезд.

Продвигаться, сверяясь, как он,
С единственной, неизменной целью
По ту сторону образов, не способных
Утолить до конца наше желанье,
Продвигаться, веря в успех, теряя
И вновь находя себя на пути,
Ведущем сквозь прекрасные и сквозь
Лживые воспоминанья, сквозь нестерпимые
И сквозь блаженные, пробегающие
В пепле прошлого ярким огнем, —
Красное облако над скалистым взморьем
Или сладкий вкус плодов, уже недоступных, —
Продвигаться, почти выходя за пределы
Языка, светя себе лишь тусклым лучом, —
Возможно ль это? Или нас опять влечет
Мираж, рисуемый всякий раз
По-новому нашими мечтами,
Но всегда играющий одним и тем же

Обманчивым радужным блеском,
Перед тем как снова исчезнуть во мгле?
Нам застит глаза жалкая ложь
Слов, привыкших сулить больше, чем есть,
Или рассказывать о том, чего нет,
Вечерами, когда все переходит во власть
Не столько красоты, медлящей покинуть
Землю, которую она любовно
Вылепливала светлыми руками,
Сколько той воды, что из ночи в ночь
Рушится в наше будущее с громким шумом.

Мы вступаем босыми ногами в воду грез,
Чуть теплую: то ли мы сейчас проснемся,
То ли тихая, неспешная молния усыпления
Уже чертит свои знаки среди ветвей, тревожно
Шевелящихся, — а потом темнеет
Так, что за деревьями ничего не видать,
Как если бы они сомкнулись перед нами.
Мы бредем по воде, она дошла до лодыжек —
О ночная греза, обними своими
Нежными руками грезу дневную,
Поверни лицом к себе, кратко
Посмотри ей в глаза: пусть ее взгляд
Потонет в твоём, более мудром, ради
Знания, уже не расколотого спором
Между земным миром и нашей надеждой,
И ради того, чтобы жизнь обрела
Единство и пребывала единой
В спокойной пене, где, как прежде,

Вновь отсвечивает красота
Или, может быть, истина, — те же
Звезды, что разрастаются в нашем сне.

Красота, самоценная, высшая красота
Ничего не значащих, неподвижных звезд.
Перевозчик на корме, заслоняющий весь мир,
Чернее тьмы, хотя его фигура
Излучает какой-то матовый блеск.
Еле слышно плеснула вода,
Потом, сразу же, тишина. И мы не знаем,
Что за песок скрипит под килем:
Новый берег или прежний мир, знакомый
По воспаленным складкам
Нашего земного ложа,
Не знаем: может быть, там иная земля,
И в приветливой неизвестности ждут
Руки, готовые подхватить
Канат, который мы бросаем из мрака?

А завтра, проснувшись, мы с тобой,
возможно,
Ощутим большее доверье к жизни
Здесь, где еще задержались
Ночные голоса и тени,
Но равнодушные, спокойные, отрешенные,
Беззлобные, безгневные, —
И ребенок, идущий рядом с нами по дороге,
Будет, смеясь, качать огромной головой
И глядеть на нас с недоумением,

Снова пытаюсь объяснить загадку,
Вечно тревожащую человеческий ум.

Он еще умеет смеяться,
Он сорвал с неба безмерно тяжелую гроздь,
И мы видим, как он ее несет, уходя
В темноту. Сборщик винограда,
Чьи руки, может быть, срезают
В вышине, в будущем, другие грозди,
Смотрит, тень без лица,
Как тот проходит мимо. Пусть ребенка
Хранит благосклонный летний вечер,
Уснем...

...Голос, которому я внимаю,
Глохнет, его перекрывает
Шум, нарастающий в ночной глубине.
Доски в передней части лодки,
Изогнутые, чтобы придать форму
Нашему духу, на который давит
Неведомое, непостижимое,
Отходят друг от друга. О чем
Говорит мне этот треск, разрывающий
Мысли, сплоченные надеждой?
Но дремота обернулась безразличием.
Огни, тени сна: уже всего лишь
Волна, затопляющая желанье.

II

А теперь,
Внезапно пробудившись, я мог бы
Рассказать или попытаться рассказать
О неистовом мельтешенье
Когтей и смешков, теснящихся
С безрадостной алчностью простейших организмов
Возле обтрепанных кромок нашей речи.
Мог бы закричать, что повсюду на земле
Несправедливость и зло разрушают
Смысл, которым наш дух стремился
Наделить этот мир, — короче, мог бы
Опомниться, отрезветь, почти отчаяться,
И, хотя лукавая химера,
Живущая на ветвях в саду Армиды,
Прельщает разум не хуже сновидений,
Согласиться с тем, чтобы слова остались
Во власти прозы, замороженной
Тем, что стоит у всех перед глазами,
И вытравляющей из истины даже тень красоты.

Но мне кажется, что на свете подлинно существует
Только голос, хранящий надежду,
Пусть он и не сознает законов,
Отрицающих его существование.
Только трепет руки, прикоснувшейся
К обещанию, скрытому в другой руке, только
Садовая калитка, когда ее толкаешь,
Возвращаясь домой вечером, в сумерках.

Я знаю все, что нужно
Вычеркивать из нашей книги,
Но на моих губах, как и раньше,
Горит одно слово.

О поэзия,
Я не могу не назвать тебя
По имени, которое разлюбили
Те, кто сегодня блуждает среди развалин нашей речи.
Я решаюсь обращаться к тебе напрямую,
Как риторы в те давние времена,
Когда вечерами накануне праздника
Под потолком просторных залов, на колоннах,
Вешали гирлянды из плодов и листьев.

Потому что я верю: память
Своим простым поученьем поможет
Всем, кто упрямо ищет смысла
Там, где загадка кажется неразрешимой,
Прочитать твое единое и многоликое имя,
Начертанное на ее больших страницах,
И в светлом огне этого имени беззвучно,
Как сухие ветви,
Сгорят их сомненья и страхи.
«Всмотритесь, — скажет она, — в единственную
Книгу, что пишется из века в век, сумеете
Увидеть, как в ее образах все ясней проступают
Внятные знаки. И вдали синеют
Горы, за которыми — ваша новая земля.
Вслушайтесь в музыку: искусная флейта,

Поющая на самом гребне бытия,
Высветляет звучание его красок».

О поэзия,
Я знаю, тебя презирают, отвергают,
Считают лицедейством, хуже — обманом,
Приписывают тебе пороки языка,
Называют затхлой воду, которую ты
Приносишь тем, кто все-таки хочет
Утолить жажду — и с раздраженьем
Отстраняется, повернув лицо
В сторону смерти.

Да, слова и вправду наливаются тьмой,
Заполненные ими страницы треплет ветер,
Как напуганных зверей, их гонит
Огонь, заставляя бросаться нам под ноги.
Напрасно мы думали, что уйдем далеко
По дороге, пропадающей
В глубине того, что стоит перед глазами, —
Нет, не сочетаются друг с другом образы,
Кружась и разлетаясь в прибывающей воде,
Все попытки связать их — бесплодны, все скрепы
Рассыпаются, как прогоревшие дрова,
И вот уже нет образов, нет книги, нет
Жаркого тела мира, которому
Открывает объятья наше желанье.

И все же я знаю: существует звезда,
Плывущая таинственной провозвестницей спасенья

В призрачном небе неподвижных светил.
Это твоя лодка, всегда
Еле различимая, но в ней на носу
Собираются какие-то тени — и даже
Поют, как в былые дни
Пели странники в конце плавания, когда,
Выходя из пены прибоя,
К ним приближалась полоса земли
И над волнами сиял маяк.

И если останется на свете что-то
Кроме ветра, утеса, моря, —
Я знаю, даже в непроглядной ночи ты будешь
Брошенным якорем, нетвердыми шагами по песку,
И собранным валежником, и яркой искрой
Под мокрыми сучьями, и, в тревожном
Ожидании, когда они разгорятся,
Первыми словами после долгого молчания,
Первым огнем в глубине мертвого мира.

РОДНОЙ ДОМ

I

Я проснулся в своем родном доме,
Пена обрушивалась на утес,
В небе ни единой птицы, лишь ветер
То отогнет, то захлопнет волну.
Со всех сторон тянуло запахом горизонта
И несся пепел, как будто вдали,
Где-то за холмами, пылал огонь,
Медленно поглощая целый мир.
Я вышел на веранду, стол был накрыт,
Под столом, вокруг буфета плескалась вода.
Мне, однако, нужно было впустить
Гостью без лица, которая стояла
На темной лестнице, толкая
Входную дверь, но не могла войти,
Так высоко уже поднялась
Вода в комнате. Я силился
Повернуть дверную ручку, она не поддавалась.
Я почти слышал веселый шум
На другом берегу, слышал, как там
В высокой траве смеются дети,
Как радостна чужая, всегда чужая игра.

II

Я проснулся в своем родном доме.
Во всех комнатах моросил дождь,
Я брел из одной в другую, видя,
Как вода, мерцая, стекает
По бесчисленным зеркалам,
Целым, треснувшим или даже
Втиснутым за шкафы, за комоды.
Из этих отсветов порой, улыбаясь, проступало
Чье-то лицо: таких нежных
Улыбок не бывает в нашем мире.
И я, приближаясь к отраженью, робко
Касался растрепанных кос богини,
Ее печального детского чела
Под струящимся водяным покрывалом.
Удивленье на грани яви и сна,
Рука неуверенно трогает завесу,
Потом стало слышно, как, удаляясь,
В коридорах заброшенного дома
Звучит негромкий смех. Всегда предо мною
Лишь бесплотные дары грез.
Тщетно тянется рука, ей не проникнуть
Сквозь быструю воду, где тает воспоминанье.

III

Я проснулся в своем родном доме.
Час был поздний. Сойдясь со всех сторон,

Перед нашей дверью теснились деревья.
У входа на холодном ветру
Я стоял один, — нет, не один, еще две
Высокие фигуры вели разговор
Поверх меня, сквозь меня. Первая,
У меня за спиной, — согбенная старуха
С недобрым лицом; вторая, предо мной, —
Стройная, прекрасная, как светильник. Она
Припала к чаше, ей поднесенной,
И пила захлеб, утоляя жажду.
Хотел ли я смеяться? Нет, вовсе нет,
Но крик любви, который я испустил,
Был искажен безнадежной тоской,
И по всем моим жилам растекся яд.
Осмеянная Церера сокрушила сердце
Ребенка, полюбившего ее навсегда.
Так говорит тот, кто замурован
Внутри того, кем он стал теперь.

IV

В другой раз.
Ночь все еще длилась. Беззвучно разливалась
Вода по черной земле, и я знал:
Дело лишь за тем, чтобы что-то вспомнить.
Я засмеялся, нагнулся, сгреб
Какие-то ветви и листья, обхватил,
Прижал к груди и распрямылся,
Чувствуя, как с них течет грязь.

Что делать с этой безжизненной охапкой,
Еще звенящей отзвуками красок?
А, все равно, я шел быстро, я искал
Какой-нибудь сарай, клонясь
Под тяжестью ветвей, которые, казалось,
Сплошь состояли из колючих
Шипов, изломов, расщепов, криков.

И голосов, бросавших тень на дорогу —
Или звавших меня? Я оглянулся
С колотящимся сердцем, но никого не увидел.

V

А теперь в том же сне
Я лежу ничком на дне лодки,
Прижавшись лицом к выгнутым доскам,
И слышу, как в них снизу
Толкается речная вода.
Вдруг нос лодки задирается вверх,
Думаю: вот, мы подплыли к устью,
Но все так же не отрываю глаз
От дерева, пахнущего смолой и клеем.
Слишком огромны, слишком яркие картины,
Скопившиеся в моем сне.
Зачем выглядывать наружу и снова
Видеть вещи, о которых, ничуть не убеждая,
Твердят слова? Нет, мне нужен
Другой берег, не такой плоский и мрачный.

И все-таки я больше не хочу
Лежать на этих досках, пружинящих
Под телом, которое жаждет очнуться.
Встаю, иду из комнаты в комнату,
А им уже нет счета. Я слышу
Крики за дверьми, во мне
Отзывается боль, сотрясающая
Ветхие косяки, я иду все быстрее,
И нет сил вынести эту бесконечную
Ночь. Со страхом вхожу
В просторный зал, заставленный партами:
Смотри, мне говорят, здесь был твой
школьный класс,
Здесь висят твои первые картинки,
Вот дерево, вот скулящая собака,
Вот выцветшая карта на желтой стене.
Смотри, как размыла очертанья и названья,
Стерла горы и реки
Белизна, от которой вымерзают
Знаки любого языка.
Смотри: эта книга была твоей
Единственной книгой. У гипсовой Исиды,
Висевшей на облезлой стене класса,
Не было другой: ее когда-то
Она перед тобой раскрыла
И ее же когда-нибудь закроет над тобой.

VI

Я проснулся, но уже в пути.
Поезд шел долго, целую ночь,
Теперь он направлялся к большим облакам,
Вставшим на горизонте, там, где молния
Время от времени прорывала зарю.
Я смотрел сквозь придорожные кусты
И видел мир, выходящий на свет,
Как вдруг блеснул другой огонь, в дальнем
Конце поля, покрытого лозами и камнями.
Ветер и дождь прибивали дым,
Но красное пламя распрямлялось, рвалось вверх,
Цепляясь руками за край неба.
Давно ли ты горишь средь виноградника, костер?
Кто и для кого тебя разжег на земле?

Потом начался день: солнце
Со всех сторон метнуло тысячи стрел
В купе, где головы спящих, как прежде,
Покачивались на кружевных
Голубых подушках. Я не спал,
У меня было еще так много надежд,
Я посвящал свои слова невысоким
Взгорьям, подступавшим все ближе к стеклу.

VII

Помню, было летнее утро,
Я подошел к открытому окну
И в глубине сада увидел отца.
Он застыл на месте и смотрел —
Куда, я не знал: куда-то за грань
Видимого. Уже сгорбленный, он
В эту минуту поднял глаза
И разглядывал что-то вверху:
Незавершенное или недостижимое.
Кирку и лопату он положил рядом.
Тогда, на рассвете мира, воздух
Был свеж. Впрочем, сама свежесть
Ранних часов детства — за глухой печатью,
И даже вспоминать о них больно.
Кем был тот человек в лучах солнца,
Я не знал и до сих пор не знаю.

А еще я вижу, как он идет по бульвару,
Медленно, устало ступая,
Как тяжелы все его движенья.
Он возвращался с работы, а я
Слонялся с одноклассниками после уроков
Среди дня, не знавшего конца и края.
Его шагам, вдали, под моим взглядом,
Посвящаю эти бессильные слова.

(Мы сидели в столовой —
Было лето, воскресенье, ставни закрыты
Из-за дневной жары, со стола

Убрали посуду, — и он мне предложил
Сыграть в карты, потому что в доме
Не было других картинок,
Дававших пищу моему воображенью.
Но лишь только он вышел из комнаты, мальчик
Неловко хватает колоду, заменяет
В картах, оставленных на столе отцом,
Слабые на сильные, и нетерпеливо
Ждет продолженья игры, ведь теперь
Кто проигрывал — выигрывает, и к тому же
С огромным перевесом, так что в этом
Сможет увидеть знаменье, событие,
Внушающее какую-то надежду,
А какую — он, ребенок, сам не знает.
Тут два пути расходятся: один
Почти сразу пропадает из виду, и забвенью
Жадно поглощает все остальное.

Не помню, сколько раз
Я вычеркивал эти слова — в стихах, в прозе,
Везде, но не могу помешать им
Снова возвращаться в мою речь.)

VIII

Открываю глаза: родной дом,
Каким он был тогда, тот же самый.
Та же тесная столовая, окно и перед ним
Чахлое персиковое деревцо.
За стеклом сидят друг против друга

Мужчина и женщина, в этот раз
О чем-то беседа. Ребенок,
Стоя в саду, глядит на них.
Он знает, эти слова могут стать
Источником будущего рожденья.
Комната за плечами родителей темна.
Мужчина только что пришел с работы,
Сын видит: жесты отца, как всегда,
Окружает ореол усталости. Она
Уже относит его от берега.

IX

Однажды, много позже, мне довелось
Прочитать поразительные стихи
Китца, в которых упоминалась
Руфь: «when, sick for home,
She stood in tears amidst the alien corn».
Мне не пришлось разгадывать смысл
Этих слов, он жил в моей душе
С детства — и в то же мгновенье всплыл
Из глубины прожитых лет.
Я полюбил эти строки навсегда.

В самом деле: чем запомнился мне
Ускользящий образ матери? Печатью
Изгнанности, вечными слезами
В глазах, тщетно искавших приметы
Далекой родины в чужом краю.

Х

Жизнь шла, и я вновь очутился
В родном доме. Мы спали
На чердаке разрушенной церкви,
Где когда-то хранилось зерно.
Вокруг играли тени рассветных облаков
И плавал запах сухой соломы,
Ждавший здесь нас, казалось, с тех пор,
Как наверх подняли последний мешок
Пшеницы или ржи, в нескончаемом прошлом
Летнего света, из года в год
Сочившегося в окно
Под нагретой черепичной крышей.
Я чувствовал: скоро забрезжит день,
Я проснулся, и снова, как всегда,
Поворачиваюсь к той, что видела сны
Рядом со мной, в утраченном доме.
Теперь, вечером,
Ее молчанию посвящаю
Слова, которые, может показаться,
Говорят о чем-то совсем другом.

(Я проснулся,
Я любил эти медленные, потаенные дни —
Реку, струившуюся незаметно, хотя
Ее уже вбирал в себя гул моря,
Похожий на эхо, бегущее в сводах.
В их течении ощущалось
Величие простых, первичных вещей.

Широкие паруса бытия несли
Корабль, который построили горы,
Окружавшие нашу долину,
И на нем — хрупкую человеческую жизнь.
О воспоминанье,
Хлопки этих беззвучных полотнищ заглушали
Плеск наших голосов, набегавших на камни, —
И впереди, конечно, ждала смерть,
Но молочного цвета, как на дальнем конце
Вечернего берега, когда дети со смехом
Вбегают в тихую морскую воду
И прыгают в ней, и не могут наиграться.)

XI

Я снова в пути. Дорога идет вверх,
Петляет: вереск, дюны,
За которыми что-то незримо шумит,
Изредка, как мимолетный дар,
Синие цветы чертополоха.
Но здесь время себя исчерпало: уже
Пенится вода вечности, колышась,
Берег совсем рядом, в двух шагах.

И передо мной, в открытом море, корабль,
Черный, как подсвечник на несколько свечей,
Объятый пламенем и клубами дыма.
Что нам делать? — кричат со всех сторон, —
не должны ли

Мы помочь тем, кто на борту,
Выбраться на берег? — Да! — звенит ночь,
И я вижу пловцов, устремившихся сквозь мрак
К пылающему судну: все они, выгребая
Одной рукой, поднимают высоко
Другую, чтобы не загасить
Светильников, к которым привязаны длинные
Цветные ленты. Тот единственный миг,
Когда с истиной еще нераздельна
Рождающаяся на глазах красота.

XII

Истина и красота, но волны встают
Высоко, заглушая настойчивые крики.
Как сделать, чтобы голос надежды всегда
Был слышен сквозь этот рев? Чтобы,
Старая, мы рождались вновь? Чтобы дом
Свои двери распахнул изнутри?
Чтобы смерть не изгоняла прочь
Того, кто рвется в родные места?

Теперь я понимаю: в ту ночь ко мне
Приходила Церера, искавшая приют,
Она постучала в запертую дверь,
И я увидел ее прекрасное лицо,
Ее свет, но и жажду, жгучее желанье
Припасть, захлебываясь, к чаше надежды, —
Ведь еще, как знать, можно было найти

Пропавшего ребенка, которого она,
Наделенная могучей, божественной силой,
Почему-то не смогла вознести над огнем
Зреющих колосьев, чтобы тот,
Ощущая живящую полноту бытия,
Рассмеялся, прежде чем его настигнет
Вожделение бога мертвых.

И наш удел — не насмешка над Церерой,
а жалость,
Встречи на распутьях в ночной мгле,
Зов, пусть безответный, но все же
Прорывающийся сквозь слова,
Речь темная, но сумевшая наконец
Согреть любовью несчастную богиню.

ВЫГНУТЫЕ ДОСКИ

Человек, стоявший на берегу, возле лодки, был очень большого, поистине огромного роста. За его спиной блестел, разливаясь по речной воде, лунный свет. Ребенок, бесшумно приближавшийся к реке, слышал негромкий шорох: это лодка, догадывался он, терлась, покачиваясь, о причал или о камень. Он сжимал в руке медную монетку.

— Здравствуйте, — сказал ребенок ясным голосом, который, впрочем, слегка дрожал, потому что он боялся слишком настойчиво привлекать внимание этого человека, этого неподвижного великана.

Но перевозчик, казалось бы, глубоко погруженный в свои мысли, уже заметил его среди камышей.

— Здравствуй, малыш, — отозвался он. — Кто ты?

— Я не знаю, — ответил ребенок.

— Как это не знаешь? Разве у тебя нет имени?

Ребенок на мгновение задумался, стараясь понять, что это за вещь: «имя».

— Не знаю, — почти тут же повторил он.

— Не знаешь! Но как можно не знать, что ты слышишь, когда тебя окликают, когда тебя зовут?

— Меня никто не зовет.

— Тебя не зовут, когда нужно возвращаться домой? Когда ты играешь на улице и забываешь, что пора ужинать, пора ложиться спать? У тебя есть отец, мать? Где ты живешь, где твой дом?

Ребенок вновь задумался, спрашивая себя, что все это значит: отец, мать, дом.

— Отец... — произнес он. — Что это?

Перевозчик сел на камень, рядом со своей лодкой. Теперь его голос, доносившийся из темноты, не казался таким далеким. Но, начиная говорить, он усмехнулся.

— Отец? Ну как же: это тот, кто берет тебя на колени, когда ты плачешь, тот, кто вечером, когда тебе страшно засыпать, садится у кровати и что-нибудь рассказывает.

Ребенок не ответил.

— Часто отца не бывает, это правда, — словно поразмыслив, продолжал великан. — Но всегда ведь есть нежные молодые женщины, которые разжигают огонь в печи, усаживают вас перед ней, поют вам песенки. А отлучаются только для того, чтобы готовить пищу: тогда пахнет растительным маслом, нагревающимся в чугунке.

— Такого я тоже не помню, — промолвил ребенок тихим чистым голосом. Он подошел вплотную к перевозчику, вновь замолчавшему; он слышал, как ровно, медленно тот дышит. — Мне нужно на другой берег, — сказал он. — У меня есть чем заплатить.

Великан наклонился, поднял его большими руками, посадил себе на плечи, распрямылся и шагнул в лодку, слегка осевшую под грузом.

— Будь по-твоему, — сказал он. — Обними меня сзади и держись крепче. — Одной рукой он прижал к себе ножку ребенка, другой опустил в воду шест. Ребенок, глубоко вздохнув, резким движением обхватил его шею. Теперь лодочник мог взяться за шест двумя руками: толкнувшись, он выдернул его из ила, лодка отошла от берега, на гулко плеснувшей воде закачались лунные отсветы и тени.

Спустя мгновение к уху великана прикоснулся детский палец.

— Послушай, — проговорил ребенок, — хочешь быть моим отцом? — Но тут же в его голосе зазвучали слезы, и он умолк.

— Отцом? Но я всего лишь перевозчик! Я живу на реке — на том или на этом берегу.

— Я останусь с тобой, у реки!

— Да пойми же ты: чтобы быть отцом, нужно иметь дом! У меня нет дома, я живу в прибрежных камышах.

— Я хотел бы остаться с тобой на берегу.

— Нет, это невозможно. И вообще: посмотри, что делается!

А делается вот что: дно лодки прогибается под возрастающей с каждым мгновением тяжестью мужчины и ребенка. Перевозчик изо всех сил отталкивается шестом, вода сравнивается с бортами, переливается внутрь, наполняет лодку и, бурля, целиком покры-

вает его длинные ноги, которые начинают скользить по выгнутым доскам, а потом и вовсе теряют опору. Не то чтобы челнок тонул, он, скорее, растворяется в темноте, и мужчине приходится спасаться вплавь, по-прежнему держа на плечах вцепившегося в него ребенка.

— Не бойся, — говорит он, — река не такая уж широкая, мы сейчас доплывем.

— Прошу тебя, будь моим отцом! Будь моим домом!

— Все это нужно забыть, — шепчет великан. — Нужно забыть эти слова. Нужно забыть слова.

Он все так же придерживает рукой ножку ребенка, теперь ставшую огромной, и, выгребая другой, свободной рукой, плывет в этом бескрайнем пространстве, где схлестываются течения, распахиваются бездны, мерцают звезды.

ПО-ПРЕЖНЕМУ СЛЕПОЙ

ПО-ПРЕЖНЕМУ СЛЕПОЙ

I

В этой стране
Богословы учат, что Бог
Существует, но он слеп.
Он ищет ощупью
В пространстве между слишком тесных стен,
в нашем мире,
Кричащее, бьющееся, все еще
Не открывшее глаз
Крохотное существо, что наделит его зреньем,
Если, конечно, он сможет
Своими неловкими,
Шарящими с незапамятных времен руками
Поднять эти сомкнутые веки.

Замысел Бога, его мечта,
Мечта той глубины мрака,
Которую они называют Богом, —
Лишь в том, они считают, чтобы
Стать этим существом. Богом движет
Предвосхищенье: что ему откроет

Обретенный взгляд? Мечта, желанье,
Возникающее в этих горных балках, в этих
Бесформенных глыбах,
В этом доносящемся из глубоких недр
Шуме источника, в Боге, —
Чтобы нечто, заключенное в них, восходило
Через кровь, через крик, через живое тело
К тому, чего у него еще нет:
Лицу, глазам.
Нет, Бог не хочет
Служенья, земных поклонов, не хочет
Слышать тех, кто к нему взывает,
Вопрошает его, или даже
Гневно протестует. Он хочет
Всего лишь видеть, как ребенок: видеть камень,
Дерево, плод,
Лозу, вьющуюся под крышей,
Птицу, сидящую над спелой гроздью.

Бог, лишенный зренья, хочет
Наконец увидеть свет.
Он, вечный, берет в ладони
Все кричащее, все обреченное исчезнуть, —
Ибо глядеть может лишь то, что смертно.

Так он возобновляет в каждом существе —
И очень ненадолго, пока
Оно способно видеть, ведь тьма
Набегает почти сразу, — свой смиренный
Поиск. Он согласен

Довольствоваться немногим —
Тем, что открывается живым глазам.
Он знает: живое больше, чем он,
Он: тот, кто всегда остается
Внутри, тот, кто выгибает
Вещь по ее форме, наливает вещь
Темнотой, ширится
Дугами, что с криком чертят
Ласточки в синем небе, и даже
Тот, кто разрывается, растворяется
В грозových облаках, но всегда
Оставаясь внутри, внутри очертанья,
В сумраке, скрывшем
Еще более глубокий сумрак, скрывшем
Расселины и глыбы, — всю бездонную
Глубину, которую эти богословы
В беседах со мной называют Богом.

(Он: тот, кого мы слышим,
Возвращаясь домой, вечером,
Под красным, застывшим небом,
В скрипе калитки: вновь
Заклученный внутри, теперь внутри звука, —
И уже наступает ночь, темно,
Давайте-ка, говорят мне они,
Приподнимем этот камень: видите? Там,
Вне нашего мира, мечутся муравьи.)

II

Бог —

То, что эти богословы называют Богом, —

Ищет. Он знает: у него

Ничего нет, говорят мне они.

Узнавать, называть, строить —

Об этом, он знает, ему нечего и думать.

Надеяться

Ему не дано, он знает.

Ждать — ему не дано.

Заметить издали, вскрикнуть, броситься навстречу,

Рыдая, протягивая руки, —

Он знает, ему не дано.

И говорить,

Сказать: «На, возьми,

Вот, смотри-ка, не надо плакать,

Теперь иди, играй» — ему

Не дано.

Сказать: «Пей».

Склониться над позвавшим ребенком —

Нет, иначе, как тот, у кого есть

Руки, чтобы утереть слезы,

Надежда, тревога, и ничего больше —

Он знает: этого ему не дано.

Впрочем, снаружи

Слышны голоса. Снаружи

Говорят: «Пойдем, уже поздно,

Догоняй». Он

Вслушивается. Но, как всегда,
Невидимое, живое не дает ему,
Заточенному, выйти вовне
Из самых простых слов.

Он знает, ему не удастся
Взять кого-нибудь за руку: его пальцы
Не смогут ее удержать.

Бог —

То, что они называют Богом,
То, для чего нет имени, —
Ищет. Им слышно, как он бродит рядом:
В крике раненой птицы, визге
Пойманного зверя.

И эти богословы знают: Бог
Приближается к ним днем и ночью,
Пробирается
В их зрачки, когда они открывают глаза.
Они понимают: ему
Нужны их воспоминанья,
Их радость. Понимают: он
Хочет отнять у них даже их смерть.

И все их мысли, вся их жизнь
Наполнены желаньем оттолкнуть, отстранить
Эти громадные руки.
«Уйди от нас, — кричат они, — уйди,

Уйди в деревья,
Уйди в дыханье блуждающего ветра,

Уйди в синеву и красную охру,
Уйди в сладкий вкус плодов.
Нет, не так: уйди
В трепещущего жертвенного ягненка».

И они идут к этим деревьям,
Размахивают цветными флажками.
«Прочь, прочь, — кричат они, —
Не будет по-твоему, ступай отсюда,
Ну же, вставай, беги,
Убегай, зверь,
Скройся в непроглядной сердцевине мрака.

Отпусти руку, которую держишь,
Ей страшно.

Спотыкайся, падай, поднимайся вновь,
Беги,
Нагой ребенок, осыпаемый градом камней».

НЕВЕДОМОЕ ЗОЛОТО

I

И другие, множество других. Они
Говорят, что им понятно все. Наш мир —
Это то, что Бог
Разрывает в клочки, это страницы,

На которых он пишет. Он ненавидит
Свое творенье, себя самого,
Даже то прекрасное, что проступает
В небе слов, почерневшем от его огня, —
Дерево нашей речи, хранящее надежду.

Бог — это художник,
Он стремится к недостижимой цели,
И, как художник, он взрывается гневом,
Он боится, что создаст
Всего лишь образ, он
Вскрикивает от нетерпенья, и его крик
Раскатывается небесным громом.
Он терзает этот образ, хотя его любит,
Потому что ему никогда не удастся
Дотянуться дрожащими руками
До чего-то неведомого: какого-то лица.

И наш долг перед Богом, продолжают они,
Помочь ему в разрушении: тоже
Ничего не желать, ничего не любить.
Отстраняясь, умолкая,
Засыпая свет серым пеплом,
Превратить нашу землю
В хаос
Камней, загромоздивших ущелья.
Бог, говорят они, это всего лишь
Слепая травинка, которая не видит
Других травинок под слепящим
Проливным дождем. Пусть сердца наши умолкнут

И вместо нашей речи останется
В лучах пересохшего, непостижимого времени
Только грязный ил, что был когда-то
Материей, грезившей о Боге.

Бытие, утверждают они, это
Даже не камень, а трещина,
Прошедшая через камень; осыпанье
Краев этой трещины; краски,
Ничего не ждущие, ничего не значащие,
В лучах солнца.

II

Но есть и другие. Они
Говорят мне: тот, кто являлся им в мечтах,
С самого начала был
Отзывчив — он, скажем, ощущал волнение,
Видя, как летним утром ребенок
С радостным криком выбегает из дома.
Еще сильнее
Его трогал ребенок, который
Отвернулся, чтобы скрыть слезы.

Этот Бог из самых древних грез
Хотел расслышать
То, что слышит музыкант, склоненный
Над гудящими струнами. Его восхищал
Скульптор, стремящийся увидеть
Там, где из мрамора выступает грудь,

Где приоткрываются губы,
Нечто высшее, чем эта
Явленная ему женская красота.

Больше того: если верить им,
Однажды, заметив, что какой-то резчик
Бьется изо всех сил
Над грубой корягой, стараясь ей придать
Черты своего божества, чей образ
Должен был в нем заглушить
Страх перед жизнью, —
Он испытал новое чувство,
Пробужденное этим неловким усердьем,
Желанье утолить это желанье, выйти
К нему навстречу изнутри вещества,
Сквозь которое, спотыкаясь, продиралась надежда.
И он отяжелел, стал деревом, воплотился
В этом простодушном образе, доверился
Мечте художника.
Внутри образа он ждет освобожденья.

Бог —
То, что они называют Богом, —
Ждет. Он то, что тлеет внутри образа,
Все еще в нем погребенное. Проще —
То, что надеется. Он слышит
Какие-то звуки: то ближе, то дальше.
Его стесняет
Робкая мысль человека. Стесняет бремя
Восторженных взглядов, трепетных рук,

Стесняет

Гибкая спина простертой девушки, стесняет
Яркое пламя лампы в темной комнате.

III

Они говорят со мною. Как странны
Эти голоса! Словно некий звук
Блуждает над верхушками деревьев,
Алый, печальный, схожий с пением рога.
Я иду туда, где он чудится мне,
И бывает, выхожу на скрещенье
Каких-то троп, занесенных сухой листвой,
Выбрав одну из них, иду и вскоре вижу
Ребенка: он, стоя на коленях, играет
Цветными камешками, их пересыпает
Из ладони в ладонь.
Он слышит, как я приближаюсь,
Поднимает глаза, но тут же отводит.

А как странны иные слова! Они
Блуждают во мраке, где не различить
Ни губ, ни голоса, ни лица.
Мы встречаем их, берем за руку, ведем
Сквозь ночь, в которой тонет вся земля.
Как будто это не слова, а прокаженный,
Чей колокольчик слышен издали.
Их плащ окутывает тело мира,
Но пропускает сочащийся свет.

БРОСАЕМ КАМНИ

ЕДЕМ БЫСТРЕЕ

Почему они смотрели вдаль? Почему не сводили глаз с этой точки на горизонте? Может быть, только потому, что уже давно мчались прямо к ней по ночной дороге, справа и слева от которой лежала плоская каменистая равнина, — лишь время от времени мелькал невысокий холм или редкие кусты, застывшие под огромным беззвездным небом. Вдали смутно виднелись две горные цепи. Словно раскинутые руки, призывавшие их к себе, — туда, похоже, и несло шоссе. Но как долго этот вход ускользал, прятался, отодвигая от пустого дорожного полотна желанные склоны, рисовавшиеся в мечтах! Как долго! Да и ночи давно пора было кончиться.

Они смотрели вдаль и молчали, не могли думать ни о чем, кроме той точки, где дорога вонзалась в черневшие горы.

И вдруг что-то красное забрезжило чуть левее этой точки, там, где некоторое время назад, все это заметили, земля вспучилась, где обозначились какие-то бугры и, возможно, впадины или даже бочаги, напол-

ненные водой. Красная полоска прирастала, растягивалась вдоль горизонта, далекие яркие пятна, словно над костром, становились все шире, и небо вокруг них уже розовело: теперь сидевшие в машине видели друг друга лучше, потому что на лица ложился этот розовый свет.

Но пылающий гребень солнца все не появлялся. Прошло несколько долгих минут, и красная полоска, больше не расширяясь, начала, казалось, таять, потом исчезли последние сомнения: пламя, трепетавшее у края неба, опять стало багрово-пепельным и наконец погасло совсем. Свет над туманными холмами, теснившимися между небом и миром, померк. И, как прежде, все поглотила беззвездная ночь.

ЕДЕМ ДАЛЬШЕ

В последнее время и сама дорога стала каменистой. Скальная порода проламывала грунт, неровные участки удлинились: машина прыгала на ребристых каменных жилах, которые кое-где полопались, растекались струями щебня или песка — густо-черными, еще чернее этой ночи, завладевшей миром, по-видимому, очень надолго, навсегда. Как же трудно было ехать по такой дороге! Порой приходилось вылезать наружу — кстати, верх нашего кабриолета теперь был откинут, и мы полной грудью вдыхали свежий ночной воздух, — и приподнимать кузов сбоку, чтобы обогнуть

едва различимый в темноте камень, более крупный, чем казалось вначале. Но мы все сильнее боялись: как быть, если встретится особенно большой обломок скалы и путь будет отрезан? Сможем ли мы объехать препятствие по одной из уходящих в сторону ложбин и вернуться на дорогу чуть дальше, где она снова — это еще казалось вероятным — вырвется на простор?

Так или иначе, нужно было ехать, не останавливаясь, ведь мотор по необъяснимой причине работал без сбоев, нужно было любой ценой продвигаться вперед, как ни страшили нас тектонические смещения, происходившие, хотя мы не решались окончательно себе в этом признаться, не только на земле, но и в небе: там рушились какие-то, может быть водяные, горы, колоссальные шаровидные тела сталкивались, разлетались, снова ударялись друг в друга — и перекачивались, и грохотали, словно гулкие пропасти, а потом бесследно исчезали в нетварной пустоте, в небытии.

БРОСАЕМ КАМНИ

И мы оставались там, в темноте, и должны были бросать камни. Бросать изо всех сил, как можно дальше, в этом лесу, который вырос перед нами и тут же оказался у нас под ногами, спустившись по крутому склону на дно ущелья, туда, где слышалось журчанье ручья.

Огромные камни, глыбы: их приходилось с великим трудом, и к тому же торопливо, ни минуты не мешкая, выволакивать из кустарника. Серые, мерцавшие в темноте.

Мы их выжимали над головой обеими руками. Какими тяжелыми они делались в эту минуту, становясь выше, больше всего на свете! Как далеко мы их бросали — на другую сторону, не имеющую названья, в бездну, где уже нет верха и низа, нет плеска воды, нет звезд. И, обмениваясь взглядами, смеялись в лучах лунного света, который сочился отовсюду из-под пелены облаков.

Наши ладони сразу же покрылись ссадинами, кровоподтеками. И все-таки пальцы упорно раздвигали корни, рыхлили грунт, вцеплялись в скользкую, неподатливую породу. Кровь обагряла и лица, но вновь, как прежде, глаза отрывались от разоренной земли, чтобы встретиться с глазами других, и вновь звучал этот смех.

ДЛИННЫЙ ЯКОРНЫЙ КАНАТ

БЕСПОРЯДОК

На сцене полтора десятка мужчин и женщин, стоящих тесной группой, некоторые — лицом друг к другу. Поочередно кто-нибудь выходит на несколько шагов вперед, какое-то время говорит (если это слово здесь уместно), потом возвращается обратно или ненадолго задерживается, слушая следующего. Лица этих людей невозможно разглядеть; кажется, что они чем-то закрыты.

.....

Она убрала в стол
Эти старые фотографии
И, улыбнувшись, сказала:
Не надо, не вспоминай.

Наши слова? Пустое:
Дым, вьющийся
Над клочьями обугленной бумаги —
нашей жизнью,
Еще тлеющей на краях.

Он уходит, она бежит
За ним, догоняет:
Возьми, говорит, возьми
Этот ящик у меня из рук,
Открытый ящик, из которого льются краски.
Умоляю, люби меня!

Он берет ящик,
Их обволакивает синий, красный цвет.
Краски простые, проще, чем жизнь.
Размытые красками, искажаются очертанья.

.....

Он кричит: я так хотел,
Чтобы вселенная услышала новый голос!
Поворачивается к подруге, смотрит на нее.
Темнеет, они идут по широкому берегу моря,
Уже не видя своих следов на песке,
Где проступает, блестя, вода.

А она: да, ты был готов променять
Нашу жизнь на спираль витой колонны,
Ради этих линий ты не щадил ничего
Из того, чем мы жили,
Все прекрасное, что в нас было, ты мог швырнуть
В бездонную пропасть
Твоей мечты о чистых формах!

Она умолкает,
Не сводя глаз с моря или, может быть,

С огромного лица, встающего перед любим,
Кто целиком поглощен своей болью.

И уходит все дальше: он
Почти не различает ее во мгле.
Лучше бы мне, говорит она,
Быть дурочкой, которую ты
Полюбил за то, как она молчит,
Как напевает обрывки песен,
Как в дождливый день идет к окну
Танцующим шагом, —
Но тут она застывает на месте
И, обернувшись, смеется.

.....

Большая прямоугольная доска на фоне неба,
Разрезанная надвое горизонтальной чертой.

Верхняя половина — глухой черный цвет,
Нижняя — изумрудно-зеленый, как море.

Что за тайна, что за пустяк: этот день, эта ночь
И первая комната, куда мы входим с тобой.

.....

Я вышла из дома,
Снег окрашивал землю крупными штрихами,
Здесь и там еще стояли лужи темноты,
Над хромавшей дорогой кружил ворон.
И я представляла себе высокие языки огня,

Рисовала в уме иное небо.
Я хотела стать топором, который
Врубается в толщу бытия,
Приглушенным, нескончаемым стуком топора,
Разносящимся по всей долине.

Я вышла из дома, мне холодно, я плачу,
О мой друг,
Ничего-то я не могу тебе дать,
Кроме потрескавшихся губ.

Однажды я поняла: в твоей душе нет свободы.
Но знай, можно смотреть на мир совсем иначе,
Можно
Увидеть его в потоке света, льющемся на морской
берег,
Так, чтобы на этом берегу оказались
Три грации
И Аполлон, и Марсий, прижавший к губам флейту.

Можно быть, в мерцании солнечных лучей,
Как линия камышей между небом и землей,
И, чуть ниже, в песке,
Умирающая, но еще не окоченевшая птица.

Быть
Как голос, замерший на самом верху
Песнопения, где к нему наконец
Присоединяются другие голоса.
Как книга, в которой все страницы пусты.

Кто-то скажет: вот руки, в руках книга.

Кто-то: все страницы пусты.

А кто-то: сегодня красота осталась

Только в этой воде, обреченной

Без конца разбиваться о морской берег,

Только в ее пенной кайме.

Эта песнь —

Насколько же она превосходит себя, она

Много выше

И дыханья, и воспоминанья.

Эта песнь, раненая птица,

Уже наполовину занесенная песком,

Время от времени

Содрогается, рывками вбирая смерть.

.....

Она встала перед ним, истерзанная обидой,

отвергнутой любовью, болью,

Нагая, ибо эта буря разразилась

Там, где только что бушевала другая буря, —

Так ветер

Меняет облик неба.

А в руках у нее

Как будто револьвер, выхваченный из ящика стола,

Гнев из глубины веков,

Бросающийся с криком туда, где все прервалось.

Она распахивает дверь настежь, она плачет,

Потому что он

Узнал обо всем лишь в последнюю минуту,
И ее глаза наполнились слезами, но он не захотел
остаться,

Я плачу во имя всех
Мужчин и женщин, которым случалось плакать,
Во имя мертвых, которые непрестанно умирают,
Во имя всего и вся, даже во имя
Света, брезжущего в моей душе.
Но если я умру, умрет и тот, кто вечен,
Мне нельзя умирать.
Если растаю в солнечных лучах, он тоже растает,
Мы оба станем клочьями цветной дымки,
И ветры в небесной выси развеют
Эту дымку,
Мне нельзя умирать.

Какое горе,
Оно так велико, что я
Освободилась от него, я утратила имя,
И мой стон подобен песне.
Меня больше нет, я исчезаю,
И мое лицо растворяется в небе, его наполняя
От одного края до другого.

Как я одинока!
Для меня разожгут мокрые ветви,
Мою жизнь завернут в саван.
И будет серый день, и порывистый ветер,
И рассеянно
Обо мне будут разговаривать люди.

Неужели это я,
Целомудренная, как быструлетное небо,
Сжимаю в руке
Эту непостижимую вещь — револьвер?
Нелегко удержать грузную сталь, когда слипаются
веки:

Какой бог придал силы моим слабым пальцам?
Зато теперь они снова стали
Пальцами маленькой девочки.

Бог —
Бог, в которого верят другие, —
Взгляни на этот нескончаемый день,
На мое безысходное изнеможенье,

На эту кровь, которой
Я забрызгана так, что сейчас умру,

На мою левую руку, на ладонь,
На мою правую руку,
Смотри, как я шевелю пальцами ради тебя:
Раздвигаю их, потом смыкаю вновь.

.....

Мы — разорванная фотография,
Мгновенье, когда-то внушившее нам любовь
на этой земле,
Но теперь сожженное молнией рук, рвущих его
в клочки.
Смотри, вот этот снимок: конец лета, вечер, берег моря,
Голые дети бегут к воде.

О, сколько газет!
Мы отрываем лист за листом, сминаем, комкаем,
Обкладываем ими поленья, но те никак не хотят
разгораться,

Дым, дым — наша жизнь,
И уже по снимку бежит огонь,
Пламя вбирает в себя губы, улыбку,
Руку, которая пыталась подхватить ткань, сползшую
с голого плеча,
Взгляд, уже не прятанный желанья.
О воспоминания: наш Эреб,
Подавленное рыданье, заполонившее душу.

Скажи, что тебе удалось разглядеть в этой пачке газет,
скажи

Скорее, пока не кончилась жизнь!

Не знаю:

Может быть, детское лицо,

Может быть, чье-то тело в какой-то позе, нет, слово

не то, в каком-то

Повороте, нет, не то,

Может быть, Божий лик.

Меня сковала сила, которая не дает

Как следует разглядеть

Эти мелькающие картины.

Сколько раз уже я искал то, что мне нужно!

Но их слишком много, им нет числа.

Будь ты проклята, память!

Помнишь
Первую комнату, где мы жили? Тоскливым
Показался нам цветочный узор на обоях, мы решили
Сорвать их, но под ними были другие,
И еще, и еще,
И последний слой,
Наклеенный на серую штукатурку, — газеты
Со словами прошлого века, который
Кончился еще до нашего рождения.
Мы пытались их снять, скатать мокрыми пальцами.
Под конец

Пришлось скоблить стену ножами.
Ты, как и я, смеялась, темнело.

.....

Ей снится, что она
Взбегает по трапу и стучит
В задраенную дверцу.
Двигатели уже ревут.
Никто не отвечает изнутри самолета,
И мир взмывает ввысь,
Она плывет между рождением и смертью
По тихому небу,
Где лишь несколько облачков
Тают в синеве, в Боге — точнее,
В том, кто вечен.

Но ведь правда же, все это — самолет, Бог —
Только скверный сон?
Она отворачивается от света,

Почти уткнувшись лицом в занавеску,
В цветы на обоях, которыми оклеен альков. Смотрите,
Я пришла издалека, с другого конца этого берега,
Я держу за руку сына, мне холодно, я одинока,
Дни бегут, сменяя друг друга.

Иногда я казалась себе Агарью в пустыне,
Но в небе надо мной не проплывал ангел,
Расправляя красно-синие крылья,
Не выходил из куста мне навстречу с кувшином воды
и хлебом.

Я все же шла, шла, что еще оставалось?
И вот, о счастье! Я наконец пришла, отворяются двери.

Держись ближе, малыш,
Вложи свою крохотную ручку в мою огромную руку,
Бежим,
Теням, падающим между этих утесов, нас не поймать.

Они бегут.
Их едва не сбивает с ног тяжелая пена прибоя.
Цветные фигурки в руках у мрака.

.....

О, этот слабый, поначалу нетвердый
Голос. Она отделяется
От остальных,
Робко ступая, выходит к краю сцены.
Есть какое-то величие в речи,
Звучащей после долгих месяцев молчанья.

Поднятый ввысь, нагой, на своем нелепом столпе,
С головы до пят в грязи, тыча руками в небо.

.....

Смотри:

Сначала белая, потом красная маска,
Но пока одна сменяет другую, успеи разглядеть
мое лицо.

Смотри:

Все свои лица я склоняю
К твоему. Мы смотрим на тебя с улыбкой,
Я поднимаю тебя всеми своими руками,
Земля под тобой сжимается, уменьшаясь.
О, наше дитя,
Приди к нам, в страну, где алеют небеса,
Где над дверьми сохнут кукурузные початки,
Где реки сияют в лучах незакатного света,
Приди, пусть и завтра
Тихо струятся твои дни, переливаясь
Через край кувшина, который ты будешь ставить
на каменный пол,

И настолько явственны будут
Вода, прокаленный воздух,
Деревья на горизонте, белые
От летней жары, что ты
Потеряешь сознание — и в тот же миг родишься.

.....

Я умираю, говорит он.
Жизнь то прихлынет, то снова отхлынет.
Как в затопленной роще, виденной мной когда-то
На рассвете. Вода разливалась под деревьями,
Здесь и там бежали ручьи.
Говорят, когда умираешь, в мыслях
Наступает покой и постепенно
Исчезают все печали, все загадки жизни.
А я, увы, никак не перестану
Думать об имени, которое позабыл,
Обычном имени, самом простом,
Время летит, я упускаю последний шанс.

И, однако, я вижу перед собой,
Между ветвями, это широкое небо,
Две витые облачные колонны
И зарево в глубине портала, откуда
Лучники нас осыпают градом стрел!

.....

Временами вспыхивает маяк
И в ночной темноте видны дети.
Они спускаются с гребня дюны.
Сколько же встречается у них на пути
Всякого мусора, хлама, тонущего в песке!
Угли, обломки ветвей, цветное тряпье.
Кто-то из них там, наверху,
Размахивает стальным прутом, на который
Насажена журнальная страница.
Они перекликаются.

Мальчишка валит с ног девчонку.
Борьба. Она старается вытянуть что-то из песка,
Ухватив за торчащий край.
Тянут вдвоем. Это
Бесконечный газетный лист, покрытый
Мятыми, изорванными словами.

.....

Мы расстаемся.
Значит, будем вспоминать друг друга,
Но воспоминанье — это забвенье,
И когда мне покажется, что я вижу
Твое лицо, я тебя забуду.

О, прошу, говорит она,
Вспоминай лишь то, что меня не разрушит.

Постарайся вспомнить
Цветок, который я сейчас срываю.

Он кричит: хочу захлебнуться в этих двух красках,
Оказаться во мраке и тебя забросать мраком,
Я умею только умирать, ничего больше, так пусть же
Я умру из-за тебя как можно скорее.

А она ему: как
Мне стать другой, чтобы ты
Мог любить меня, но не умирать от любви?

Он не отвечает, просто плачет.
Ветер свежееет, она кутается в шаль.

.....
Кто бы мог подумать, подруга,
В те давние времена, когда
Пастух гнал свое стадо под открытым небом,
А потом в ночной темноте омывал
Набухшее вымя вздрагивающей овцы, —
Кто мог тогда подумать, что придет
День, когда мы станем стыдиться слов?

Когда, называя любую вещь,
Мы будем чувствовать вину.

Даже говоря: «посмотри, какой малыш»,
Мы будем чувствовать вину.

Да, снег летит и ложится на снег,
И блещет молния то там, то здесь, озаряя
Наши темные фигуры в белой мгле.
И со всех сторон кричат, и везде убивают,

Но все же, подруга, попытаемся вновь,
И сегодня утром, не бояться
Называть то, что видим.
Пойдем через этот лес, под ветвями,
На которые лег ночной иней.

Смотри, бежит, еле слышно журча,
Вода в ручье,
А ведь помнишь: еще вчера была
Намертво скована морозом.

ДЛИННЫЙ ЯКОРНЫЙ КАНАТ (ALES STENAR)

I

Говорят,
В небе плавают корабли,
И к нашей мимолетной земле
С них иногда спускается
Длинный якорный канат.
Якорь ищет для себя место
Среди наших лугов, наших деревьев,
Но его почти тут же срывает и уносит
Желанье, плывущее в вышине.
Нездешний корабль не остановится у нас,
Он устремлен к иной мечте.

Все же случается, что якорь
Особенно тяжел: тогда
Он волочит, задевая деревья,
Почти по дну.
Однажды видели, как он вонзился
В церковный портал, под аркой, там,
Где уже стирается, сходит на нет
Изображение нашей надежды,

И кто-то из другого мира
Неловко сполз
По натянутому, судорожному канату, чтобы
Отцепить свое небо от нашей тьмы.
О, как страшно он шатал своды,
Изо всех сил вырывая диковинный якорь, —
Почему
Что-то в нас побуждает мысль скитаться
И наше слово, не зная дороги,
Пускается в плаванье к дальним берегам?

II

Чего он хотел, правитель этой страны,
Велевший расставить над обрывом
Множество глыб, — так, чтобы они
Воспроизвели очертанья судна,
Готового поплыть по морю,
Лежащему между небом и миром,
И, странствуя почти наугад, по воле волн,
Может быть, достигнуть наконец
Той гавани, которую иные
Склонны видеть в смерти, считая ее
До предела насыщенной жизнью, цепочкой
Огней, рассыпанных на темном берегу?
Корабль его желанья —
Этот нос, обозначенный острым валуном, эти
Изящные выгнутые борта —
Летит на месте. И я стараюсь

Разглядеть в неподвижности движенье,
Которое придал своей мечте человек,
Знавший, что ему суждено
Погибнуть в сражении, отбиваясь
От воинов с закрытыми лицами, что-то
Восклицающих на еще одном языке
Нашего мира, где ничто не длится долго,
Разве только недоуменье и боль.

Среди них есть чужой, подающий ему знак,
Посланец, пришедший из заморской страны,
Весь как белый свет, пробившийся сквозь дым.
А он — он рассыпает удары, задыхается, он
Надсадно кричит,
Но вдруг замолкает, очутившись
В каюте на носу корабля
Лицом к лицу с ангелом, который
Глядит на него, улыбаясь. Теперь
Они сидят рядом за столом,
Где больше нет ни лоций, ни карт
Земной жизни, ни напитков, ни яств,
Ни даже тех картин, что перед ним
Память рисовала каждую ночь
Своими легкими руками
В этом странном мире, где рождаются и умирают,
Воспоминаний не о битвах, совсем о другом —
О так и не сказанных словах,
О темном наслаждении, похожем
На сок, тяжелящий виноградную гроздь,
О том, что он видел, но не понимал,

И о странных
Привязанностях, длившихся слишком недолго.

Он мечтал, он уплыл. А сегодня, здесь,
Перед нами и вокруг нас,
Нет ничего, кроме земного неба,
Облаков, просветов. Потом
На почерневшие, смешавшиеся камни
Падает стрела грозы и, тут же, дождь.
Нас накрывает бушующая вода,
Стелы сливаются в единую громаду,
Возникающую здесь и там, исчезающую, —
Хотя между ними пробегает
Молния. И мне
Хочется думать, что в ее пламени есть
Покой, дарующий великую радость
Тому, кто в этом хаосе
Сражается то слева, то справа от нас
Против несчетных врагов и сейчас умрет.

Позже, оглянувшись,
Чтобы посмотреть на каменный корабль, скользящий
Под небом, которое снова прояснилось,
Наполнившись светом летнего утра, —
А что еще нам делать, как не смотреть назад,
В этой жизни, где все проходит? —
Я вижу: на переднюю глыбу
Села большая морская птица. Мгновение
Таинственной неподвижности: так может
Застыть лишь простое бессловесное существо.

Птица смотрит вдаль, вслушивается, выжидает,
Она ведет корабль, и десятки, сотни
Других птиц вьются вокруг, над бортами,
Крича и пропадая в струе за кормой.



АМЕРИКА

I

Я жил тогда в маленьком доме, который стоял на песчаном холме, поросшем невысокой светло-зеленой травой, чуть в стороне от других таких же домиков. Каждый день рано утром я спускался с холма, направляясь к ближайшему кафе: оно виднелось примерно в километре, от силы в полтора, на другой стороне дороги, тянувшейся вдоль берега Тихого океана. Мне нравилось смотреть на машины, которые тихо катили по ленте дороги, огибавшей пустынное поле, вглядываться в окна кафе, где до сих пор, хотя кругом уже разливался красивый золотистый свет зари, горели лампы. Иногда перед окнами проплывали тени тормозивших автомобилей или людей, направлявшихся к входным дверям. Шагая по отлогой тропе, я приближался к этому миру, еще чужому, далекому, хотя мне, начиная с определенной точки, становился слышен его шум, постепенно нараставший, — и это были минуты покоя, когда почти ничего не происходило, разве что зажигалась под солнечным лучом мгновенная звезда на бампере машины

или вспыхивало и тут же меркло поле цветущей горчицы на невысокой синей горе справа от меня. Привычная жизнь света: в ее укромности, внезапно открывавшейся глазам, сразу же ощущалась благожелательная, ободряющая сила. Свет был моим другом, я знал, что и в этот день он останется со мною до вечера.

Но в то воскресенье все происходило иначе — и до чего же резкой казалась перемена после этих однообразных утренних прогулок, приучивших меня к чувству, что время здесь струится совсем беззвучно, как вода, остающаяся в часы отлива в рытвинах на морском берегу! Дорога, которую с моего холма можно было окинуть взглядом на несколько километров, была полностью свободна от машин. Вместо их мерного потока я увидел группы людей, а чуть позже, присмотревшись, понял, что это дети, бесконечная черед детей, которые идут в одном направлении, появляясь из-за горизонта на севере и скрываясь за горизонтом на юге; шествие это выглядело особенно фантастичным, непричастным к обычной реальности еще и потому, что они несли парившие над дорогой на разной высоте воздушные шары всевозможных, по большей части переливчатых расцветок и еще более удивительных очертаний. Иные шары имели строгую форму какого-либо из пяти простых тел и радовали глаз идеальной красотой граней и ребер, обтянутых полупрозрачным — вероятно, тканым — материалом; но встречались и хитроумно перевитые, с отрогками,

придававшими им шутовской вид, — ручками в браслетах, ножками в сверкающих башмачках. Нити, которые дети держали в руках, были очень длинными, они позволяли шарам свободно, можно сказать, с задорной бесшабашностью реять в воздухе. И если некоторые из этих хрупких аэростатов плыли в точности над малышами, которые управляли их движением, то другие — неуклюжие добродушные драконы — прыдали в разные стороны, заваливались набок, как бы теряя равновесие от смеха, а третьи переносились то вперед, то назад или сновали поперек дороги. Шелковые нити поблескивали на солнце; гранатово-красные, фиолетово-синие, желтые пятна шаров выплывали там и тут, будто паруса, порой мягко сталкиваясь и тотчас разлетаясь.

Внизу, на шоссе, процессия временами редела, возникали небольшие, в пять-шесть шагов, разрывы, но вскоре детям — некоторые из них замедляли шаг, возвращались назад, перебегали из группы в группу — удавалось восстановить прежний порядок; а я, все сильнее удивляясь по мере приближения, понимал, что их здесь вправду очень много, и замечал в этой картине новые неожиданные черточки. Оказывается, не все шагали пешком: некоторые ехали на велосипедах, держа в одной руке особенно большие шары — настоящие монгольфьеры, изрыгавшие огонь; несколько раз я видел мальчиков и девочек, тащивших открытые повозки, в которых возвышались, покачиваясь, какие-то статуи; над ними, казалось, тоже вьется

пламя или, во всяком случае, клубится густой буроватый дым, отдающий ладаном, — теперь я мог уловить и запах. Вереница детей тянулась без конца, и поводам для удивления тоже не было счета. Крайняя необычность этого грандиозного шествия, все еще оставшегося для меня почти бесшумным, поражала так же сильно, как его завораживающая нескончаемость. Столь таинственно, я думаю, не выглядит даже саранча, внезапно налетающая на сады города, построенного у рубежа населенной местности, там, где начинается пустыня, — крохотные безземельные царьки в зеленых коронах, со слепыми шариками глаз. Но еще острее, чем удивление, я ощущал странное веселье, которое рождается в нас тогда, когда мы застигнуты врасплох чем-то необъяснимым: мной овладевала радостная надежда, что вот-вот разорвутся узы моего вчерашнего, моего всегдашнего разумения и неполнота знания обернется наконец полнотой бытия.

II

Так, испытывая по меньшей мере двойственное чувство — восторг и замешательство, я приблизился к дороге, сошел с травы на асфальт и начал пробираться к привычному месту завтрака (еще вчера здесь, пропуская меня, степенно останавливались автомобили). В толпе никто не обратил на меня внимания, дети были целиком поглощены собой, что-то выкрикивали, смеялись, окликали друг друга. Войдя в кафе, я уви-

дел, что там, потягивая напитки красного, белого, желтого цвета, расположились несколько малышей и совсем юных подростков в голубых джинсах, футболках и шортах-бермудах, — так от тучи саранчи отбивается, усыпав землю, небольшая стайка. Теперь они были совсем близко, к тому же некоторые сидели перед своим оранжадом или оршадом в полном одиночестве, и я мог спросить любого из них, в чем причина этого исхода в пустыню; мог бы, но не спросил. Меня успокаивала мысль, что там, в дюнах, во главе процессии нет какого-нибудь мрачного флейтиста, который увлекает всех за собою.

Я не задавал вопросов, не пытался выведать, что происходит, сознавая в глубине души, что это ни к чему не приведет, что несколько бессвязных реплик, которыми мы могли бы переброситься, мне никак не помогут и немедленно сотрутся из памяти; но молчание мое объяснялось еще и тем, что на самом деле я уже понимал, в чем заключался смысл этого великого шествия, и понимал лучше, чем сами дети, в своем блаженном неведении только и знавшие, что подталкивать друг друга локтями и весело хохотать. Гигантский шар, намного превосходивший размерами остальные, пролетел, дергаясь и рассыпая блики, мимо окон, и в них остался какой-то красный блеск: легко было вообразить, как, обгоняя бесчисленных участников марша, этот шар помчался на юг, чтобы опуститься на землю далеко-далеко, в глубине материка или в открытом море. Да, божеством сегодняшнего дня был случай — пото-

му-то я и начал догадываться, что означал этот всеобщий сбор, этот праздник. Мне открывалось и многое другое: я видел, как проясняется смысл самой Америки, смысл этой цивилизации, которая уже давно, много лет назад, стала для меня очень близкой, хотя до сих пор сохраняла в себе и нечто чуждое, — я разгадывал тайну за тайной, и мне даже удалось лучше понять некоторые события собственной жизни, навсегда оставившие во мне чувство удивления и печали. Казалось, то, что я увидел на этом калифорнийском шоссе, было не просто происшествием, а особым знаком, под воздействием которого моя мысль теперь расправлялась, точь-в-точь как эти разноцветные пирамиды и кубы, еще проплывавшие в окнах: само бытие, играющее своими гранями... Настоящее озарение, стремительно разраставшаяся цепь умозаключений, которые я тут же принялся записывать — сначала за столом, потом на обратном пути в мой домик на холме, сходя с тропы или останавливаясь возле больших камней.

Эти записи на листочках, кое-как расправленных на ладони, были совсем короткими — не доведенные до конца, оборванные фразы, а то и просто пара слов. Ничего, сойдет! И завтра, и позже, в те годы, что мне еще отпущены, у меня будет достаточно времени, чтобы придать четкую и завершенную форму моему истолкованию Америки, да и всего остального, что в то утро так живо трепетало, захваченное моим неводом.

III

Днем, однако, меня отвлекли другие дела; потом я вернулся в Париж, прошли недели, месяцы, годы, а у меня все не доходили руки до тогдашних заметок, пока не настала минута, когда я сказал себе, что наконец должен написать мою «Америку». Я отыскал пожелтевшие листки, вырванные из старого блокнота. Следы карандаша, еле различимые на фоне тоненьких типографских линеек, уже начали стираться — так долго эти бумажки, которые я без конца разгибал и складывал, кочевали по карманам плащей, валялись то на одном, то на другом письменном столе. Я вновь их разгладил и прочитал то, что написал когда-то, или, лучше сказать, попытался прочесть, — ведь, просмотрев свои записи раз и два, потом еще и еще, все больше недоумевая, даже раздражаясь, не обнаружил никакого смысла. Какие-то разрозненные слова: идея, некогда их соединявшая, бесследно исчезла. Вместо связной картины, которую эти слова должны были уловить и зафиксировать, — полная сумятица; мне начало казаться, что некоторые карандашные штрихи на замусоленной бумаге — это случайные каракули, не то что возносящиеся над уровнем языка, но к нему и близко не подступавшие.

И я терялся в догадках. Может быть, я не сумел как следует записать все, что мне пришло в голову тем утром в Калифорнии, или слишком опрометчиво положился на свою память, и какая-то мысль, вполне ра-

зумная и способная сослужить мне службу, действительно улетучилась из слов, которые я начеркал, так что мне теперь, вероятно, никогда не узнать самую важную для меня истину? А может, я просто грезил в тот момент, когда писал или думал, что пишу? Само шествие, при всей его небывалости, безусловно происходило в реальном мире, и видел я его наяву, в этом не было, да и сейчас нет, ни малейшего сомненья. Но разве можно с уверенностью судить обо всем остальном? О том, что происходит в нашем уме, осмысляющем знаки? О наших воспоминаниях, наших фантазиях — и о прозрениях, впрочем, сменяющихся затмениями, — словом, обо всем, что с такой силой пробуждают в нас неожиданные события? Мои заметки больше всего напоминали те слова без начала и конца, без формы и содержания, которые с разочарованием обнаруживаешь утром на клочке бумаги, где наспех записал, проснувшись среди ночи, удивительный сон.

Я задавал себе эти вопросы, потому что кто-то, живущий во мне, непременно хотел понять — если не суть Америки и нашего мира, то хотя бы игру, которую вела сама с собою моя мысль, моя жизнь. Но эту растерянность и это желание я ощущал совсем недолго, всего несколько мгновений: почти сразу же бумага у меня на глазах стала темнеть, слова, которые никак не поддавались прочтению, — зыбиться, слегка розоветь, и передо мной опять возникли какие-то картины, сначала расплывчатые, но вскоре проступившие

вполне отчетливо, как если бы я уже знал многое из того, что заставляло меня в них вглядываться.

Что же мне привиделось? Еще одно шествие, но в другой местности, на узкой горной тропе. И опять школьники, опять они несут шары, но на этот раз глубокой ночью, клонясь под сильным ветром. Несмотря на все это, дети — совсем маленькие, меньше даже, чем тогда на шоссе, — бесстрашно взбираются на крутые, почти отвесные склоны, где им подчас приходится протискиваться между валунами, нависшими над пропастью, и подталкивать идущих впереди, только бы не оставаться долго на этом головокружительном пороге, обрывающемся в непроглядный мрак. Они идут не поднимая глаз. Над ними колышется смутная масса шаров; иногда нити в руках у детей рвутся под напором ветра, слепо веющего из надмирной вышины. А я — я то стою, оттесненный этой бесконечной процессией на край тропы, то шагаю вместе со всеми; точно так же спотыкаюсь от усталости, вижу, как тяжело дети дышат, слышу, как они отрывисто смеются, начинают что-то петь, но сразу же умолкают, а порой — вскрикивают от боли, глотают слезы. Шум вверху: это шары налетают друг на друга, трещат, лопаются, подпрыгивают на волнах черного воздуха. Мгновенные огненные струйки пробегают по их бокам, и тогда в темноте взблескивают красные или желтые пятна. Время от времени еще выше, высоко-высоко в горах, слышится гул оползня, но и этот звук, как все остальные, дышит безмолвием. Только

что над нами пролетел самый большой шар; мне удалось разглядеть лишь нижнюю его часть, сетку, которую лизало, но не могло зажечь пламя. Позже я замечу его вновь: он висит без движения над какой-то невидимой, может быть вовеки недостижимой землей, среди камней, и теперь за ним открылось все небо, все звезды. И я вижу: один ребенок пытается, хотя тропка совсем узенькая, вернуться назад. Куда, к кому он возвращается? Он то и дело сталкивается с другими детьми, но тем настолько трудно продвигаться вперед и при этом не выпускать шары из рук, что они его даже не замечают. Я беру его за руку, задерживаю: «Куда ты?» Он поднимает глаза — расширенные, переполненные мыслью, которой мне никогда не разгадать.

И еще я спросил его: «Как тебя зовут?» Но он не отвечает и, не отводя задумчивых глаз, качает головой.

Я никогда не забуду тебя, ребенок, который хочет вернуться, сам не зная куда. Я вижу тебя сквозь каждое, пусть и самое невзрачное словечко, написанное мной на бумаге, вижу даже тогда, когда моя замечтавшаяся речь раскачивает на концах словесных нитей, натянутых легким ветром, блестящие, хотя и не до конца различимые шары, — и мне кажется, что они блестят от росы, как будто на земле снова занимается день. Я знаю: ты прячешься во всех картинах, которые я люблю. Я слышу, как ты бредешь, спотыкаясь, в

каменистых глубинах книг, которые я читаю, которые
я научился читать, — и мне хочется взять в ладони
твое лицо. Иногда я почти прикасаюсь к твоему горя-
чему лбу, встречаю глазами твой вопрошающий
взгляд, но как раз тут все знаки бесследно исчезают.
А вместе с ними — день и ночь, и весь наш мир, и
даже ветер.

ТЕАТР ДЕТЕЙ

ТЕАТР ДЕТЕЙ

Он шел по лесу и внезапно услышал этот смех, гомон, радостные восклицания. Как тут было не остановиться? С бьющимся сердцем он прислушался к детским голосам, проникавшим сквозь завесу зелени, и направился туда, где они звучали, в иной мир. Он шагал, отстраняя листву, мягко, почти нежно шлепавшую его по лицу. Так раздвигал ветви Актон, которого, впрочем, манил не отдаленный смех, а пропасть, откуда валил дым, клубы едкого дыма, словно там, на дне, в зарослях кустарника, разгорался огонь, способный сжечь вселенную.

Посреди поляны возвышалась театральная сцена. Простенькая, проще некуда: врытые наискось бревна, на них пяток досок и три-четыре жерди, к которым прикреплен застиранный, весь в дырах, полотняный задник, отделяющий помост от неба. Поодаль снова вставали кряжистые деревья, сразу же наглухо смыкавшие строй. Сцена была невысокой, метр от земли, не больше. Дети без труда влезали на нее и соскакивали

низ; одна девочка как раз прыгнула, ноги вместе, но споткнулась и, едва не упав, врезалась в спину мальчика в красном свитере. Все смеются. Он поворачивается, боксирует в воздухе, как будто осыпая ее ударами, она кричит, но притворно, понарошку.

Потом ставит ступню в руки мальчика, которые тот сложил замком, отталкивается, снова вспрыгивает на сцену и поворачивается лицом к условному зрительному залу. «Я королева, — возглашает она, — ты король». Они действительно были королевской четой, откровение свершилось, испытание кончилось, после такого утра и ночь могла наступить, и огню незачем было чертить свой извилистый путь гибели под жухлыми листьями, среди камней.

БЕСКРАЙНЕЕ ИМЯ

То были чрезвычайно монотонные звуки: слоги, следующие друг за другом без малейшего перерыва, а то и просто легкие всплески звуковой материи, в которых чувствовалась определенная эмоция, — и тогда становилось ясно, что женский голос, доносящийся издали, кого-то зовет. Издали? Да, эта женщина находилась очень далеко, за деревьями парка, видневшегося у края небес.

И он, приближавшийся к этому парку, услышал ее давно и прибавил шагу, чтобы расслышать лучше,

чтобы прийти туда, откуда летели звуки, или, по меньшей мере, войти в ворота парка раньше, чем голос смолкнет. Но женщина все продолжала — казалось, этому не будет конца — выпевать примерно то же, с чего, судя по всему, начала: дифтонги, в которых преобладали «а» и «и», однако появлялись и другие гласные, и даже, редко, что-то вроде немого «е», как бы еле заметной синкопы. Мгновенья усталости, тревоги? Нет, голос тут же обретал прежнюю силу.

Ворота были открыты, он пошел по дорожке — уже не так быстро, ведь он был всего лишь ребенком, а шел, я думаю, долго, не один час, — и парк окружил его: бесчисленные аллеи, просветы, вспыхивающие яркими красками, глубокие тени, ласковые ароматы, полосы воды, блестящей за стволами деревьев. Теперь куда? — подумал он, но в ту же минуту почему-то сошел со скрипучей песчаной дорожки и, пройдя между кустами, зашагал прямо по густой траве. — Впереди, позади него голос все так же мерно ронял звуки, которые то устремлялись в поднебесье, то плыли над землей. И хотя женщина звала издали, временами казалось, что она где-то рядом, совсем близко.

Он слушает, ища дорогу в высокой спутанной траве, боясь оступиться, но камни, на которые он старается ставить ногу, крошатся, перекатываются, так что иногда он скользит и чуть не падает. Слушает, рисуя в

поображении эту женщину, стоящую, должно быть, на высокой террасе: она одета в красное платье, за ее спиной — колонны, тяжелые резные двери, а перед ней, внизу, сколько хватает глаз, расстилается сплошная пелена листвы, которую кое-где прорывают взрывающие ввысь птицы или струи дыма.

Он слушает — но внезапно слышит совсем другой звук, треск ломающихся сучьев. Рядом, в нескольких шагах, появляется девочка его лет. На ней длинное белое платье, из-под которого выглядывают голубые ботики, испачканные зеленью. Волосы растрепаны: видно, цеплялись за ветви, когда она пробиралась сквозь кусты. Она его заметила, она смотрит на него с удивлением или, может быть, так, будто еще не проснулась. Потом садится на камень. У нее за спиной бурлит солнечный свет, тысячи мельчайших пятнышек тени зыблются вместе с листвой, которую теперь колышет ветерок, еще более усиливая непостижимый аромат парка. Сколько цветочных венчиков участвуют в этом благоухании, сколько легких соцветий, влияющих в него, кроме запахов, кажется, еще и свои краски! И все это тоже похоже на голос, но тихий, шепчущий, — между тем как другой, далекий, все так же ясно звенит над верхушками деревьев.

Мальчик смотрит на девочку. И она, доставая из небольшой корзины тарелку, покрытую салфеткой, флягу, стаканы и расставляя все это на земле, смотрит на него, все так же не говоря ни слова и с довольно су-

ровым видом. Он тоже садится — нет, опускается на колени в двух шагах от нее.

— Что это? — спрашивает он.

— О чем ты?

— О голосе. Что хочет сказать эта женщина?

Девочка ^{3.1}глядит на него все более внимательно. Удивленно морщит лоб. Трудно понять: то ли она сейчас рассмеется, то ли, наоборот, чем-то опечалена.

— Ничего. Она зовет меня.

— Зовет тебя?

— Да, это мое имя. Эта женщина — моя служанка, а раньше она была моей кормилицей. Я королевская дочь. Сегодня утром я ушла, сама не знаю почему, из дворцового парка. Он там, по ту сторону высоких деревьев, парк моего отца. Здесь, наверное, тоже парк, но он отделен от дворцового длинной-длинной оградой, за которую меня просили никогда не ходить. Но в ограде есть щель, и сегодня я взяла свой полдник и перелезла сюда, на эту сторону. Я уже долго иду.

Она вздохнула.

— Значит, она зовет тебя? Она беспокоится?

— Конечно. И я обязательно вернусь. Но у меня еще есть время.

Девочка вздохнула вновь.

— Потому что она не выговорила мое имя до конца.

В самом деле, голос безостановочно выбрасывал в уже потемневший воздух все те же слоги: как и раньше, здесь преобладали «а», но, похоже, стало больше «и», то и дело мелькавших среди других звуков, одновременно и глухих, и гулких, — так плещется у камней вода. Звуковой поток, однако, не шел на убыль, он, скорее, разливался вширь: казалось, женщина доверчиво или, наоборот, с отчаянием призывает в свидетели своей просьбы всю даль — густой, ярко-зеленый лес и цепь высящихся над ним синих гор, на склонах которых можно было различить крыши домов, фронтоны, купола.

— Твое имя! — воскликнул мальчик. — Так это твое имя?

— Ах, оно и вправду очень длинное, — промолвила девочка. — Когда я родилась, мой отец король решил, что я прекрасна. — Да она в семьдесят два раза прекраснее, чем Бог! — вскричал он. А поскольку в имени Божиим семьдесят два слога, то в ее имени должно быть семьдесят два раза по семьдесят два слога.

Так, по крайней мере, он думал, пока не прошла первая неделя.

— А потом? — спросил мальчик, придвигаясь ближе к принцессе.

— Потом? Мой отец решил, что я в семьдесят два раза прекраснее, чем он думал вначале, а значит, и мое имя...

Тут она расплакалась и, всхлипывая, продолжала:

— Мое имя никогда не кончается. Утром, приходя меня будить, кормилица произносит его слишком долго, и всегда случается что-нибудь такое, из-за чего ей не удастся договорить. И я не слышу своего имени до конца и поэтому не знаю, кто я, — как будто меня так до конца и не разбудили, как будто мне вовеки не вырваться из сна. Только мои сновиденья вырываются на волю, увлекая меня с собою, иногда на целые дни. Я умываюсь во сне. Во сне выпиваю стакан молока, во сне выхожу в парк. Может быть, я и сейчас вижу только сон.

— Я не хочу, чтобы ты видела сон и сейчас, — ответил девочке ее новый друг. — Это значило бы, что меня нет, но тогда мне будет очень грустно.

— О, мне тоже, — воскликнула принцесса. — Как же сделать так, чтобы ты действительно был?

— Можно дождаться, когда она договорит, и тогда ты проснешься, встанешь и будешь гулять вместе со мной, по эту сторону ограды.

И добавил: «Ты придешь ко мне в гости».

Она посмотрела на него с интересом. Голос, однако, все не затихал. Принцесса открыла корзинку, вынула из нее два ломтя хлеба, намазанных маслом, соль в бумажном фунтике, крутые яйца без скорлупы. Они молча съели все это, потом несколько кистей винограда. Запили из фляги, убрали стаканы в корзинку. Темнело.

— Послушай, — заговорил он вновь, — я кое-что придумал. А что если ты поменяешь имя? Если я буду звать тебя... — Он размышляет. — Если я буду звать тебя... — Он не смеет произнести найденное имя вслух, но все же тихо шепчет: два слога, как и в его собственном имени, один и тот же повторяющийся слог. Она услышала, почти наверняка. — Что ты на это скажешь?

Девочка тряхнула головкой, глубоко вздохнула, ее глаза вновь наполнились слезами. Впрочем, она заулыбалась. И разжала губы, собираясь ответить. Но внезапно далекий голос, там, за деревьями, оборвался и смолк. Какая тишина: такого глубокого безмолвия еще никогда не было в мире! Тишина природы. Тишина долин, которые видишь с большого расстояния, пе-

реносясь в них лишь мысленно, когда ранним утром, после долгого пути, выходишь на обрыв скалы. Он, шедший сюда так долго, слушавший так внимательно, смотрел, ничего не говоря, на свою новую подругу. От нее, казалось, исходил какой-то неяркий блеск. Но улыбка на ее лице постепенно гасла.

— Слышишь, меня зовут, — сказала она. — Пора возвращаться домой.

Она встала, подняла корзину и флагу, грациозно поклонилась мальчику и, повернувшись, исчезла за кустами, которые тем временем стали совершенно черными, потому что мир погрузился в ночную темноту.

ДЕРЕВЬЯ

Он толкнул ногой лодку, которая отошла от берега и поплыла по течению, навсегда оставив его у подножия этих высоких скал. Дал уняться легкому головокружению — как-никак, считая с той минуты вчерашнего дня, когда он начал переправляться, ему пришлось долго налегать на весла — и вскарабкался на ближайшую скалу: невеликий труд, потому что между камнями обнаружили своего рода ступени, хотя и узкие, неровные. Сквозь трещины в этих плитах пробивалась скудная трава — странного, почти синего цвета. Ветер нанес туда рыжеватого песку, по нему сновали муравьи. Какое-то время он пристально сле-

дил за одним, чертившим необъяснимые зигзаги; потом полез дальше, выбрался наверх и, распрямившись, обвел глазами горизонт.

Вокруг — прямо перед ним, справа, слева — простиралось слегка волнившееся плоскогорье, заросшее травой, которая здесь была много гуще и на которой, переливаясь, как лужи, оставшиеся после ночного дождя, лежали пятна тени; оно уходило в зыбкую даль, где, словно поднявшись из-под земли, тянулись едва различимые гряды голубых холмов, уже подкрашенные на вершинах утренней зарей. А еще он увидел рассеянные в этом просторе деревья: иные росли близко друг к другу, образуя небольшие перелески, иные — порознь, одиноко, но, так или иначе, у него не возникло чувства, что деревья — главное в этой картине, слишком уж широки были луга, на фоне которых они и выделялись, вставая там и тут, чаще всего — по краям впадин, придававших равнинному рельефу известное разнообразие. Не они были главным, не в них заключалось то, что безмерность плоскогорья противопоставляла безмерности неба. И все же некоторые, с раскидистыми, величественными кронами, казались поистине гигантскими.

Но вот он трогается с места, хотя в этой траве на краю света — в этом безмолвном покое — нет ни одной дороги, и, пройдя совсем немного, приближается к высокому дубу; останавливается, смотрит на него, чего-то ждет, потому что царственная красота этого

дуба велит ему ждать и даже присесть на один из камней, которые, как он теперь видит, кое-где просвечивают сквозь травяной покров, но при этом не выглядывают наружу, разве чуть-чуть. И все-таки: чем заняться, когда сидишь под таким могучим деревом? Когда слышишь над головой легкое шуршанье — возню птиц или, может быть, шелест листьев, колеблемых слабым ветерком? «Сосчитай нас, сосчитай», — как будто говорит ему одна из травинок. Он начинает считать, но на самом деле ему хочется другого: раздвинуть траву, разрыть мягкую бурую землю, лечь ничком и спрятать в этой ямке свое лицо.

Встает, идет дальше. Вообще-то в подобной местности всегда переходишь от дерева к дереву, даже если деревья, как здесь, стоят на большем расстоянии друг от друга, чем кажется поначалу. Как долго он шел, прежде чем оказаться под еще одним дубом? С толстыми узловатыми корнями, которые, разворотив землю вокруг ствола, теперь всей массой надвигаются на него, оторопело замедлившего шаг и снова застывшего на месте. Над ним раскинулся плотный шатер ветвей: хотя час утренний, здесь, под деревом, еще темно. С шумом прорывая листву, тяжело взлетает птица, но он ее не разглядел. Не потому ли, что внимание отвлек неожиданно возникший перед ним мальчишка?

Совсем еще ребенок: в коротких штанах, босой, коленки запачканы чем-то красным. На низкий лобик

падают пряди волос, лицо недовольное, если не сердитое. Руки вытянуты вперед, в сжатых кулаках что-то спрятано, он подходит ближе, еще ближе, вплотную, смотрит с вызовом в глаза новоприбывшему — точное ли слово? — и резко разжимает руки. Оказывается, в кулаках были шарики. Один из них тут же падает, мальчишка пытается его поднять — с большим усилием, чуть было не растеряв остальные. Удалось, и он снова выпрямляется. — «Будешь играть?»

Долго, долго не может принять решение тот, к кому обращен этот вопрос. Потом отвечает: «Нет, не хочу».

«Тогда давай наперегонки», — говорит мальчишка, поворачивается спиной и срывается с места, крича на ходу: «Лови меня!» И вот один ребенок бежит за другим, пробиваясь сквозь хлещущую по лицу зеленую листву. Куда же делся мой друг? — недоумевает он. Спрятался за дубом? Он огибает ствол, но там, на пустом, без единого дерева лугу, ни души. Ждет какое-то время. Идет дальше.

Спустя час-другой, когда в небе уже разлился полуденный свет, он начал замечать на своем пути деревья и даже рощицы, однако не приближался к ним, обходил стороной; и вот теперь он проходит рядом с большим вязом, напоминающим, впрочем, исполинское фруктовое дерево неизвестной породы, — так похожи красочные пятна, блестящие в траве, на упавшие плоды. Мальчик вступает под ветви вяза, делает

несколько шагов в свежей, ласковой тени, хочет остановиться, перевести дух, но тут слышится смех. Негромкий, слегка язвительный смех вверху. Кто может так смеяться в этом пустынном краю? Не иначе, кто-то прячется в листве. Он запрокидывает голову.

Действительно, на одной из ветвей сидит верхом голоногая девочка. Пышные волосы растрепаны, вместо платья — кое-как накрученная красная тряпка. Подняв руку, она со смехом указывает на что-то пальцем, но на что именно — понять невозможно. «Эй, ты кто?» — кричит он. Девочка смотрит вниз. «Не знаю, — отвечает она, — я играю». И тут же добавляет: «Играю, как будто я жду». Немного погодя снова слышится такой же резковатый смешок.

А он и не думает смеяться, ему грустно. «Кто ты?» — спрашивает он еще раз, искательно, словно о чем-то умоляет.

Но она больше не отвечает, она опустила руку и сжала ее в кулак, задумчиво разглядывает свои пальцы, запястье, и снова звучит этот смех, а спустя несколько мгновений — еще раз. Он идет прочь.

Но шагает уже не так бодро, а то и останавливается, потому что иногда, через неравные промежутки, до него доносится смех девочки, — и он всякий раз оборачивается и видит высокий вяз; вначале тот проступает на фоне неба четко, потом его очертанья мут-

неют, расплываются, и наконец расстояние увеличивается настолько, что дерево сливается с другими, более далекими и более близкими, становится почти неразличимым. Наступает момент, когда выделить вяз из сплошной полосы зелени больше не удастся, да и смех к тому времени, растворяясь в тишине, поглотившей все звуки, слышится только в сердце путника.

День перевалил за половину, краски меркнут, солнце покинуло бесконечную синюю высь и спускается все ближе к холмам, в другой, далекий мир, ветер гуляет по лугу, поют птицы; а тот, кто все идет и идет вперед, — почему он твердит себе, что тропа, которой он вроде бы держится, существует не только в его воображении? Почему считает осмысленными знаками разводы и черточки, которыми испещрены камни, впервые за этот день выглянувшие из травы целиком? Серые камни. Они попадаются все чаще, чаще и наконец перегораживают путь, стеснившись под скальным обрывом, на котором внезапно встает еще одно дерево, очень высокое.

О, какое высокое дерево! Оно поднимается в небо, как дым костра. Густые синие ветви похожи на руки и, с какой стороны ни посмотреть, словно открывают кому-то объятье — но кому? В небе, куда они тянутся, никого нет.

А когда подходишь ближе, как сейчас этот ребенок, лучше видишь листья, широкие, блестящие, с

медно-красными прожилками, ветвящимися в зеленой материи, — для этого цвета мысль не находит определения. Бездонная зелень, пропасть, в которой рокочут грозы.

«Я остановлюсь под этим деревом, — думает путник. — Опущусь на колени. Подниму из травы один из его плодов, громадный, как мир. Напьюсь из ключа, струящегося, я знаю, там, между корнями. Вырежу на стволе...» Им овладевает восторг, он забывает, что устал, — но почему он не пытается вскарабкаться по скалам, окружившим дерево, одолеть подъем, где как будто видны ступени, пусть и узкие, неровные? Внутри защемило, он чувствует, как его кулаки сжимаются, он делает шаг вперед, идет все быстрее и быстрее, потом бежит по широкому лугу, круто забирающему вниз и открывающему небо, по длинному склону, на котором растут другие деревья, — а вдали, в самом его конце, где их еще больше, угадывается опушка леса, высокого, темного, так что там уже ничего не разглядишь.

День клонится к вечеру, хотя свет словно застыл. Путешествующий в стране лугов и пятен тени идет дальше, он встречает на своем пути новые дубы, вязы, клены, растущие все гуще, окруженные кустами и даже подлеском, а кое-где и непролазными зарослями. Опушка совсем рядом, он входит в лес, и над головой у него почти сразу смыкаются зеленые купы: не оборачиваясь, углубляется он в эту чашу, где любое направление — дорога, где ничто не ведет никуда.

РАЗИНУВ РОТ

Может быть, она видела сон? Или все еще видит? Захочется ли ей смотреть этот сон и дальше? Она натягивает юбочку на колени, распрямляет голые ножки, глядит на свои босые ступни, соприкасающиеся там, где круглятся косточки возле большого пальца: слева на правой ступне, справа на левой. Ей пять, может быть шесть лет — кто возьмется сказать точно? Она сидит на каменном полу перед распахнутой входной дверью, погожий летний день, снаружи синее широкое тихое небо.

Если бы она встала и, шагнув через порог, вышла на крыльцо, то увидела бы траву, большие деревья, расставленные почти в регулярном порядке на этом плотном зеленом ковре, который устилает землю до самого горизонта, и ничего больше. Вдоль стены тянется дорога: она выходит слева, из-за дома, и, уходя направо, теряется вдаль. Дорога мощеная, между разбитыми камнями брусчатки растет такая же трава, как и вокруг.

Дорога? Что это, для чего она? Чтобы пойти направо и вместе с ней пропасть из виду? А зачем пропадать? Небо, дышащее теплом, так просторно, так неподвижно. И мир намного просторнее, когда видишь его сквозь дверной проем. Она не встанет, она будет сидеть на полу в прихожей, на чередующихся — то светлая, то темная охра — прохладных плитках.

Между тем время от времени слышатся обрывки какой-то мелодии. Как бы мельчайшие облачные хлопья, проплывающие перед ее глазами в синем небе. Не проплывающие, нет. Едва появившись слева, они тут же тают, они не успевают долететь до той половины неба, что прячется за правым косяком двери.

Полный покой.

Не тут-то было: музыка звучит все громче, превращаясь в клокочущий изнутри гул, в настоящий звуковой хаос, и снизу накатывает какое-то непонятное рокотанье, — они пришли, они уже здесь!

Не то пять, не то шесть музыкантов лезут в дверь. Теснятся, отталкивают друг друга, каждый норовит втиснуть свою голову между головами других, каждому хочется тоже заглянуть внутрь, где сидит та, что глядит на них, встретиться с ней взглядом, — и хотя проем довольно широкий, места для стольких инструментов все равно не хватает. Скрипач растянулся на полу, протасил скрипку между ногами приятелей и, орудуя смычком, наскоро мастерит небольшую музыкальную шкатулку, которую ему почти удастся затолкать в прихожую. Ну и длиннющие у него руки! И хотя он все время дурацки фыркает, давясь от смеха, его мелодия чудо как хороша!

А флейтист попросту переступил через скрипача, и флейта, глядишь, тоже влезла бы внутрь, если бы не нуж-

но было дать место гобою и тарелкам, и скромной дудочке, и горделивой тубе, и виоле да гамба, и, сверх всего, барабану, который приходится держать, чтобы его было видно, высоко-высоко, хотя и у барабанщика, надо сказать, руки длиннее некуда, просто бесконечные какие-то.

Но это не все, нет: тут вдобавок и арфа, и серпент! А еще — клавесин, его звуки тоже слышны, он поспешает за другими, просто чуть запоздал, потому что двоим из этой компании приходится тащить его на руках. Работа не из легких: грузный инструмент то и дело застревает в мокрой траве, где до сих пор блестят лужицы, оставшиеся после ночного дождя!

Клавесинистка наверняка перепачкает свои длинные ноги в грязи, можно не сомневаться. А вот и горн, точнее охотничий рожок, всунул свое веселое личико в этот сумбур, окончательно зачаровавший зрительницу. Видите, как она, разинув рот, уставилась на дверь!

Только не подумайте, что она умеет отличить дудочку от клавесина, — но ведь различий и знать незачем, совсем нет времени на то, чтобы извлечь из этого знания какой-то смысл. Она учится не знать.

Впрочем, музыканты уже исчезли, а вместе с ними — их благозвучная, их нестройная музыка. Трудно поверить, что они вообще приходили, слишком уж спокойны белые облака, слишком нерасторжимы косточка на правой ступне и косточка на левой ступне.

ХУДОЖНИК ПО ИМЕНИ СНЕГ

I

Каким ярким багрянцем пламенеет даль, там, над проломом в небе!

Оказывается, ночью здесь побывал снег, с красками в руках.

Все, что он разливает вокруг, зовется тишиной.

Адам и Ева в зимней одежде идут по дороге. Их ноги беззвучно приминают снег, покрывший траву.

И туман отводит перед ними легкие занавеси: вот между деревьями приоткрылся один зал, потом другой, третий.

Белка на ветке отряхивается: слишком много напало света.

В этом лесу еще никто не бывал, даже тот, кто дает названия и чувствует страх оттого, что назвал, и умирает от страха, —

Бог, ставший всего-навсего снегом.

II

Художник склонился над холстом, я трогаю его за плечо, он вздрагивает, оборачивается: это снег.

Его лицо бездонно, его рук не сосчитать, он проносится и слева, и справа, и у меня над головой мириадами хлопьев — с каждым мгновением все более густых, все более светлых. Оглядываюсь назад: все тонет в снегу.

Его кисть: дымка над верхушками деревьев, которые в ней растворяются, в которых растворяется он сам.

III

И временами я уже ничего не различаю — только собственные ботинки на скрипучем белом насте. Ярко-синие шнурки, желтоватую зернистую кожу, бурые разводы, которые оставляет на ней снег, когда, пробираясь сквозь световые вихри, я вытаскиваю вязнущую ногу.

Художник по имени снег неплохо потрудился и сегодня утром. Он освежил рисунок ветвей, и небо теперь — ребенок, со смехом бегущий мне навстречу; я поплотней укутываю ему горло толстым шерстяным шарфом.

БОЖЕСТВЕННЫЕ ИМЕНА

I

Они рассуждали так: Бог не может хотеть, чтобы мы дали ему имя, ведь понятие имени подразумевает и понятие подлежащего, понятие глагола, сказуемого, а значит, мы сразу же пожелаем, чтобы Бог был тем-то или тем-то, начнем перебирать наш опыт, сравнивать, искать то, что лучше всего подходит, отстаивать свое мнение — словом, перегрыземся во имя Бога. Надеясь именем того, кто не вмещается в мир, мы его не называем и тем более не восхваляем, мы, увы, попадаем в западню, поставленную языком. Имя Бога — безусловное зло. Как только у Бога появляется имя, по пшенице бежит огонь, нож пронзает шею ягненка.

Но едва лишь они пришли к этому несложному выводу, ими овладел страх. Действительно, оказавшись перед колоссящимся полем и вымолвив: «пшеница», они тут же спохватывались, ибо, зачерпывая этим словом красоту пшеницы, ее несомненную, абсолютную силу, они уже, пусть и отдаленным образом, име-

новали Бога, а стало быть, творили зло. Глядя на колосья, освещенные солнцем, они видели, как слово, которого им не следовало бы произносить даже мысленно, наползает на них тенью, — и вот уже эта трепещущая тень заливают мраком далекий косогор, усаженный виноградными лозами, и сверкающую реку! Все, что им нравилось, и нравилось вполне оправданно, могло стать поводом для роковой оплошности. Ни о чем нельзя было подумать так, чтобы избежать угрозы, и уж точно нельзя было ни о чем заговорить, особенно с теми, кого любишь, ведь любовь наполняет таким восторгом, что все сущее кажется божественным, и ты хочешь выразить это чувство. Они боялись вечерних прогулок, и если выходили в это время из дому, то брели в лучах закатного света потупаясь, не глядя по сторонам; тревожились даже при виде красивых темно-синих камней на пути: может быть, это дьявол их подложил. Опасным казалось и любовное ложе. Преподавание в их школах свелось к нанизыванию бесконечных абстракций, ибо достаточно было, разбирая прекрасное стихотворение, упомянуть розу или вино, как на мгновение приоткрывались сами эти вещи, причастные к Богу и потому лишавшие мысль привычного блага: иметь дело со словами, в которых он отсутствует.

Как же быть? Вовсе не глядеть — чтобы, неровен час, не увидеть? Прикасаться к чему бы то ни было не иначе как с помощью инструментов, позволяющих держаться на расстоянии, как те металлические ру-

ки, которыми орудуют роботы, проникая в огонь, в холод, в мельчайшие тела, в безвоздушное пространство?

Они стали еще решительнее избегать любых предметов, способных заронить в них слишком сильное чувство любви. Старались, чтобы их дни и ночи были по возможности ничем не заполнены. И все, что они говорят, тоже. Отказались не только от всех видов изобразительного искусства, но и от того, которое показывает вещи лишь косвенно и величие которого, видимо, заключается именно в том, чтобы, простодушно воспламеняясь, довольствоваться этими окольными путями. Отринули все, в чем могли заподозрить хотя бы тень серьезности, поскольку серьезное неотделимо от привязанностей, пристрастий, воспоминаний. Конечно, по-настоящему ослепнуть и онеметь они не могли, а потому решили устраивать своего рода спектакли, но такие, которые не привлекали ничего внимания, — лишь случайные прохожие бросали на них равнодушный взгляд, продолжая спешить по своим делам. Происходило это на берегу, чаще всего ночью. Несколько человек сгружали с корабля большие ящики. Они громоздили их друг на друга на причале, покрытом лужами. Переставляли, двигали — тяжелые, наполненные, судя по всему, массивными железными брусками, которые ворочались в их замкнутом нутре. Это так и называлось: «играть в Бога». Лучше было играть в Бога, чем поклоняться ему, — ведь поклонение невозможно без метафор, метафо-

ра же дробит мир, а всякая раздробленность — это смерть.

Они решили умереть, потому что Бог оказался слишком велик для жизни. Некоторые сразу же покончили с собой. Другие медлили, коснея в недоверчивом безразличии ко всему на свете. И тоже умерли в свой час. На этом острове можно видеть следы их цивилизации: красивые храмы, лежащие в руинах. Кое-где на стенах высятся восхитительные статуи — улыбающиеся, с бесцветными глазами, удлинненными и гибкими кистями рук. Среди них встречаются изображения обнаженных мужчин и женщин, на чьем облике лежит печать глубочайшей невинности, но вместе с тем и какой-то тайной грусти; они словно предчувствуют, что должно произойти в будущем. Трудно не задать себе парадоксальный вопрос: может быть, их искусство было слишком прекрасным, внушало слишком сильную радость? Так или иначе, известно, что в этих местах когда-то появился проповедник странной, мрачной веры, обвинявший человечество в том, что на земле существуют предметы, достойные любви, и люди, чьи руки с наслаждением берешь в свои, — существуют источники, утоляющие нашу жажду свежей водой. Бог превыше всего этого, восклицал он. Ему было невдомек, что, сжигая все без разбора, он дает имена и своему богу: «огонь», «смерть», — и предает того, кто, возможно, нуждается в счастье, которое могли бы ему даровать только люди, предает бога, готового разделить свое имя с лю-

бой, даже самой скромной земной вещью: становясь пшеничным полем, солнцем, локонами, рассыпавшимися в полумраке постели, становясь вновь и вновь, без конца, переплесками ветра, тоненькой луговой былинкой.

II

Мы спустились с гор и вышли к морю. Часовня стоит на берегу, почти у воды: это простая саманная хижина с единственным узеньким оконцем, разделенным надвое вертикальным железным прутком. Вокруг все заросло густой травой, она оплела даже порог, и дверь можно открыть лишь с некоторым усилием. На худую черепичную крышу, кое-где перекрытую срезанными ветвями, бросает сквозистую тень пальма. Близится полдень. Мой провожатый — мой друг — поворачивает старый ключ в старом замке, и мы входим. Внутри пусто: светло-желтый песчаный пол, несколько высохших до синевы апельсинов, закатившихся в угол, а прямо перед нами на полу — она выглядит брошенной, — какая-то статуя или, скорее, заготовка для статуи. Лик святого скульптор даже не наметил, в почерневшей от времени колоде различимы только самые общие, едва обозначенные контуры стоящего человека; угадывается выдвинутая вперед нога, обнаженный торс и характерная широкая набедренная повязка, как у водоносов и писцов в Египте, до которого отсюда не так и далеко: если держать на юг, можно за два-три дня, смотря по погоде, доплыть до

несков, до пальмовых рощ, чей аромат часто долетает до островка, где находимся мы, — причалить к этому великому острову, глядящемуся в великую реку, к этой горе, возносящейся в облаках между двумя «ничто».

Лик святого даже не намечен. Я наклоняюсь, приподнимаю чурбак (оказывается, довольно тяжелый) и рассматриваю деталь, наиболее проработанную скульптором, который прервал свой труд несколько дней или, может быть, несколько веков назад: это руки, прижимающие к груди нечто вроде сферы, хотя и совсем неправильной, — видно, что мастер не слишком старался придать ей плавные и закругленные очертания знакомого геометрического тела. Вскоре я убеждаюсь, что он не только не боялся неправильности, но, напротив, сознательно ее добивался. И вот что еще: пальцы неизвестного святого стиснули эту странную вещь с заметным напряжением; материал, из которого она сделана, слегка вмялся под их напором.

Я ставлю статую на место, поднимаю глаза и обвожу взглядом часовню, но больше ничто не привлекает моего внимания, разве лишь краска на стропилах, облезшая в тех местах, где во время дождей, редких в этой местности, внутрь просачивается вода. Входная дверь прикрыта не до конца, сквозь щель между темным деревом и стеной пробивается узкий, но яркий, почти ослепительный луч. А мой провожатый вышел наружу: я слышу, он разговаривает там с какими-то детьми.

Этих детей я видел несколькими минутами раньше. Старший катался на велосипеде: отталкиваясь от земли ногой, обутой в стоптанный шлепанец, он выписывал зигзаги вокруг своих приятелей. А другие — не то двое, не то трое — были совсем маленькие; один из них расхаживал нагишом, освещенный вечерним солнцем. Их тела, напоминавшие бронзовые статуи, каких в Египте, по-моему, не было, переливались в огне заката. Проходя мимо, я подумал: вот эти знают, в чем дело, или, по крайней мере, еще не совсем забыли.

ПРОХОЖИЙ, ХОЧЕШЬ УЗНАТЬ?

I

Прохожий, хочешь узнать,
Как умер обитатель этой могилы,
Этот склоненный над книгой ученик?

Однажды ночью он читал
У камина, в котором подрагивало пламя,
Трактат Августина «О Троице». Ветер
Шатал стоявший на отшибе
Среди старых заброшенных садов
Дом, где он снимал комнату. Снаружи
То накатывали, плеская в окна,
Высокие волны дождя, то затихали.

Что же он читал?
«Только Бог не является знаком,
Он один.
Из всего сущего только Бог
Остается предметом как таковым, вне значенья».

(Ведь любой предмет, согласишься,
Объясняла ему книга,

Есть знак, который указывает
На другой предмет. Даже
Самый грубый, бесформенный камень, вовеки
Не соприкасавшийся с человеческой мыслью, —
Даже он может
Обозначать что-то другое: скажем, хаос
Или небытие.
Бог — единственное, что отсылает
Только к себе и ни к чему иному,
В нем сведена на нет сама идея знака.)

И ученик, свесив голову, борясь с дремотой,
Недоумевал: как можно
Быть чистым предметом, в котором
Не находит даже крохотной зацепки
Наша природная потребность создавать смысл,
Потребность называть? Тот же камень,
Огромный камень — его, без сомненья,
Я люблю, как, вероятно,
Можно любить и Бога, но при этом
Не могу не дать ему названия:
Я называю его словом «камень»
И тем самым, словно открыв ему глаза,
Переношу
Туда, где мы живем, в то место, где все
Имеет названия, в наше укрытье.
Направить мысль за пределы слов
Мы не в силах. Постигнуть безымянное,
Не способное обозначать,
Мы не в силах: это все равно что

Толкать ногой труп, лежащий в могиле.
Ибо только смерть, она одна,
Не может быть знаком.
Она, только она
Прячется где-то в глубине, за каждым словом,
И если нас иногда поражает
Звук, исходящий изнутри
Какого-нибудь слова, когда
Мы запинаемся на одном из его слогов,
Если в нас при этом неожиданно
Возникает что-то
Немое, ничего не означающее, ни на что не
Указывающее: неисследимая бездна, —
Мы тут же пятимся, отступая от края,
С кружащейся головой, на ватных ногах,
И бессильно валимся в густую
Траву нашего мира, нашего бытия.

Ведь если Бог — чистый предмет,
Зачем вообще он нужен, кромешный, внесловесный,
Грозящий разрушить все, что мы помним?

II

Читавший задумался, потом —
Что это был за звук? Вздвогнув,
Он встает, отходит от камина, гасит
Пару тусклых ламп, освещавших
Комнату. Темно, лишь иногда

Почти дотлевшие угли
Вспыхивают, как будто размышляя,
И чертят на полу огненные слова.
Впрочем, и за окном
Брезжит слабый свет луны, готовой, как в романах,
Придать особый смысл дождю и ветру,
Но ее то и дело скрывают
Бегущие по небу облака. И ученик,
Прислушиваясь к шорохам ночи,
Вспоминает, может быть, похожие звуки —
Когда он в детстве не спал и слушал,
Как издали, словно из другой вселенной,
Приближались поезда и проносились
Вдоль садовых оград, через предместье, где он жил,
Со стуком — хорошо знакомым, понятным,
А потому добрым, навевавшим сон.

Он задумался, он смотрит, как
Черная поверхность его стола,
Слегка переливаясь, уходит во мглу.
Вдруг
Брошенный кем-то камешек, чиркнув
По стеклу, звякает о подоконник снаружи,
И снова наступает тишина.

Что это?
Кажется, такой же звук
Минутой раньше помешал ему читать.
Теперь он слушает, затаив дыханье:
В саду тихо, даже ветер

Смолк, и почти не слышно, как журчит
Дождевая вода, бегущая по стеклу.
Стоит ли тревожиться? Он решает
Не обращать внимания на эту
Случайность, потому что
Нет и не может быть значенья, он знает,
В темноте, подступившей к окну.

Не тут-то было: снова
Бьет в стекло камешек, потом
Еще один, почти без перерыва.

На этот раз,
Внезапно чувствуя острый страх,
Он открывает окно. Шагах в десяти
Светится в зыбкой тьме
Женская фигура: старуха в лохмотьях,
Высокая, сгорбленная. В одной руке
Она сжимает несколько мелких камней,
А другую заносит над головой.
Фигура, в которой слились серый
И ярко-желтый, почти красный, цвет,
Как бы нарисованная на потрескавшемся холсте
И окутанная складками дождя,
Словно шалью или, точнее, мандорлой.
Кто она? Он видел эту женщину когда-то,
Он помнит, как сжимал в своих руках
Лежавшие перед ним на столе
Ее худые руки, в копоты от дыма
Старинных, устроенных вровень с полом

Очагов, на которые ставили чугуны.
Впрочем, тогда ему казалось, что это
Руки маленькой девочки. И он
Спрашивал: скажи, скиталица, кто ты?

Кто ты? Теперь она выглядит иначе:
На голове стальной обруч, а над ним
Вьется пламя. Точь-в-точь тиара
Из мигающих, дрожащих под ливнем, иногда
Почти гаснущих огненных языков. Вся картина
Кажется далекой, но он ясно видит,
Насколько слаб, нестойк этот огонь,
Как будто эта женщина, там, в цветном пятне,
Стоит совсем рядом, возле окна!
Без сомненья, она просит ее впустить,
Хочет подойти к его столу
И, сняв свою пылающую корону,
Положить руки перед ним, как тогда.
«Кто ты?» — Нет, он не спрашивает, он
Просто говорит: «Входи».

III

Входи, повторяет он, и улыбка
Озаряет ее лицо, блестящее
Под струями ночного дождя.
Входи! У самых дверей, споткнувшись,
Женщина чуть не падает, но он
Успевает ее поддержать.
Она переступает порог.

И стены дома тают
Вокруг него и этой женщины, окруженной
Сиянием огней, которые плещут
Так бурно, словно хотят прорваться куда-то.
Они стоят среди высокой травы,
У них под ногами рытвины, кочки,
И он боится, что хрупкие языки,
Пластаясь, разрываясь, сейчас угаснут, —
Нет, вся сила неба не может совладать
С этими огнями, разве только
Окрашивает их в разные цвета,
Каждый миг — в новые, пламенеющие
В нависшей над ними тяжелой мгле.

Он и она рано или поздно
Упадут наземь, где-то не здесь,
Далеко отсюда. И, привстав
На колени, посмотрят в глаза друг другу.
Лицо женщины изрыто морщинами.
Кто ты, снова спросит ученик, но, улыбнувшись,
Грациозным движеньем руки
Она снимет свою тиару
И положит в траву, возле его ног.
Потом встанет и уйдет,
Хотя перед этим остановится, помедлит,
Застынет на мгновенье — и тут же отвернется,
Как девочка, повернув голову чуть вбок,
Трудно сказать, из кокетства или от боли.

И он, вглядываясь в эту тиару,
Таинственно блестящую сквозь листья и стебли
Высокой травы, примятой дождем,
Знает: если сжать
Пальцами один из этих огоньков,
Пламя не обожжет
И будет, как прежде, струиться вверх.

Он знает: если и захочешь, не удастся
Погасить его, завалить
Мокрой глиной.
Победно распрямляясь, вырвется огонь.
Сама тиара, однако,
Убеждается он, присмотревшись,
Всего лишь театральный реквизит: два кольца
На четырех или пяти проволочных распорках,
Они же и скрепы.
Нижнее — чтобы надевать на голову,
К верхнему припаяны
Семь чашечек, и в них еще кипит
Какое-то горючее масло.

ПОЧТИ ДЕВЯТНАДЦАТЬ СОНЕТОВ

МОГИЛА Л.-Б. АЛЬБЕРТИ

Чем был для него этот фасад? Его надгробьем?
Он слышал, как в камне поет арфа,
И хотел, чтобы звучанье аркатур превратилось
В бесплотное золото размеренных стихов.

Ничего не меняй,
Сказал он старшине строителей, иначе
Смерть погубит эти числа, ты разрушишь
«Всю эту музыку», все, чем мы живем.

Фасад, как все живое, не завершен,
Но числа здесь стали детьми, беспечно
Играющими в золотой воде.

Они барахтаются, толкаются, кричат,
Оплескивают друг друга светом
И с приходом ночи разбегаются, смеясь.

МОГИЛА ШАРЛЯ БОДЛЕРА

Вспоминая о том, как ты терял дар речи
И меркло в тебе удивление землей,
Я стараюсь вообразить
Скрытые от нас слова незнакомки —

Той, что ты назвал задумчивой Электрой,
Отправшей твой воспаленный лоб
И разгонявшей «легкою рукою»
Страшные виденья больного сна.

Ты означил ее таинственным знаком,
Ведь сострадание — тайна из тайн.
Оттого и вырастают эти буквы — J, G, F —

Над гладью света, по которой
Скользит твоя лодка. Становятся наконец
Твоей гаванью: портиками, пальмами, пирсом.

«FACESTI COME QUEI CHE VA DI NOTTE...»

Он размахивал факелом: двойное сиянье
Смущало тех, кто следом за ним
Медленно ступал по краю бездны,
Стараясь превозмочь цепенящий страх.

Почему свет, даруемый тобою, вождь,
Совсем не освещает тебя самого?

Разве тебе не нужно видеть
Пустоту, что разверзается впереди?

Такова, однако, участь иносказаний:
Говорящий не может и не должен знать,
Откуда приходит и куда падает речь.

Его стопа ищет опору даже в пустоте,
Петляет его полет сквозь слова: пламя,
Еще более чуждое мечте, чем зола.

ОСМЕЯНИЕ ЦЕРЕРЫ

Сострадавая ее лихорадочным словам,
Он посмотрел сквозь запотелое окно
Своего сна. Там, снаружи,
Разговаривали. Открыл дверь: тьма.

О художник, чью руку сжимаешь ты
В своей, когда спишь? Почему не отпускаешь
Эту детскую ручку, как будто она
В силах своим прикосновеньем изгнать

Страх, разрушающий твои образы? Я
Хочу, чтобы ты наполнил их доверьем
К той, кто вершит суд и карает,

Но любит и страдает. Примирил ребенка
И жажду. Пусть не удивляется ребенок
И пусть ему эта жажда не мстит.

ДЕРЕВО НА УЛИЦЕ ДЕКАРТА

Прохожий,
Взгляни на это высокое дерево, сквозь его ветви, —
Может быть, больше ничего и не надо.

Ведь как ни истрепано, как ни забрызгано грязью
Дерево на улице — в нем вся природа,
Все небо,

На него садятся птицы, в нем трепещет ветер, солнце
Говорит из листвы о неизменной надежде,
Живущей наперекор смерти.

Философ, если тебе выпала удача
И на твоей улице растет дерево —
Твои мысли движутся легче, глаза глядят вольнее,
руки
Еще стремительней разгоняют мрак.

ИЗОБРЕТЕНИЕ СЕМИСТВОЛЬНОЙ ФЛЕЙТЫ

В этом месте своего последнего рассказа
Он, захваченный движеньем испуганных слов,
Пустился бежать, осознав, сколь тяжела
Накипающая в каждом из них угроза.

Как если бы из красок, отторгнутых от мира
Непроглядными названиями вещей, иль из неба,

Бесконечно раздвинутого словом «ветер»,
Хлынул вал, накрывший его с головой.

Поэт, спасет ли тебя от смерти
Мелодия семиствольной флейты,
Инструмента, который ты создаешь?

Или это лишь твой слабый голос, задыхаясь,
Длит твою мечту? Тьма, глухая тьма
В шелесте прибрежного тростника.

МОГИЛА ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ

Сколько их было — тех, кто обжег пальцы,
В гнезде феникса вороша золу!
Он себя до краев наполнил мраком,
Чтобы вобрать столь же сильный свет.

И его доверчивые слова вознесли
К черным небесам не скучный оникс,
Но кубок ладоней, вместивших немного
Земной воды и твое отраженье,

О луна, подруга поэта. Он подносит
Тебе эту воду, и, склоняясь к ней, ты рада
Пригубить его желанье и надежду.

Я вижу, как ты идешь с ним рядом по здешним
Пустынным холмам. То чуть впереди,
Озираясь с улыбкой, то скользя за ним тенью.

МАЛЕР, ПЕСНЬ О ЗЕМЛЕ

Она выходит, но еще не стемнело —
Или лунный свет уже наполнил небеса?
Двигается, но в то же время исчезает,
Ее лица не видно, слышна лишь ее песнь.

Жажда бытия, научись себя смирять
По примеру всякой земной вещи,
Так же уединенно замкнувшись
В доверчивом покое с переливами грез.

Она, плывя вверх, и ты, старея, вершите
Свой путь, разделенные пологом листвы,
Порой ты будешь видеть ее, она — тебя.

О речь звуков и музыка слов,
Тогда устремляйтесь друг другу навстречу
В знак согласия, оставшегося прежним, и печали.

МОГИЛА СТЕФАНА МАЛЛАРМЕ

Пусть надгробьем для него будет парус, потому что
Воздух в целом мире неподвижно застыл
И ялик его голоса не мог сопротивляться
Реке, настойчиво звавшей в свой свет.

Прекраснейший из стихов Гюго, сказал он, —
«Сегодня солнце садилось в пелене облаков».

Вода, ничего не вбирая и не теряя,
Превращается в огонь, и он сдается огню.

Мы видим на носу исчезающей лодки
Его смутную фигуру: он машет чем-то,
Чего не различить земным глазам.

Разве так умирают? И с кем говорит он?
И что останется от него, как стемнеет?
Двухцветный шарф: борозда на реке.

АВТОРУ «НОЧИ»

Он вошел в могилу еще до смерти.
Вечерний город, знакомый, но безлюдный.
Чернеют ворота. Несколько последних
Прохожих вдали. Потом ни души, темно.

Он пошел по улице, свернул, и еще раз.
Пусто. Какая-то повозка. Возница
Безглазый, вообще без лица. И снова
Он слышит лишь отзвуки собственных шагов.

Все дворы заперты. Как он тряс ворота!
Бешеные трели звонков, угасая,
Рассыпались по лестницам пустых домов.

Он сошел к набережной: под ней еще струилось
То, что осталось от реки. Он слушал,
Как журчит, уходя из времени, вода.

САН-ДЖОРДЖО МАДЖОРЕ

Неужели там, за стройностью фасадов,
Благородных, как младенческая нагота,
Ничего нет: лишь вереница темных
Залов, один за другим, без конца?

Вечная беда Сверхчувственного: форму
Держит в ладонях наша мечта,
Но до чего же этот свет неровен и зыбок!
В нем пульсирует артерия небытия.

И две руки смыкаются: вот портал храма.
Впрочем, здесь и падает жертвенный нож.
Безупречная симметрия убивает ягненка.

Архитектор, очисти от этой крови, отмой
Надежду, вселяемую формой в камень, —
Иначе не добыть целительный свет.

НА ТРИ КАРТИНЫ ПУССЕНА

Его могила, говорите? Вот здесь, где он
Оставил темное пятно внутри кроны,
Под которой постаревший Аполлон размышляет
О тех, кто молод: кто сильнее любого бога.

И здесь, внутри просвета в «Рождении Вакха»,
Где солнце еще не омраченную надежду

Берет в ладони и ее претворяет
В быстро меняющиеся небеса.

Его могила? Ее, тающую, видит
Суровый взгляд из глубины «Автопортрета»,
Чье зеркало, благосклонное к его мечтам, темнеет.

Удивленный старик встречает закат,
Но, как ни поздно, все еще говорит
О красках земли, хотя его рука умирает.

ОДИССЕЙ ПРОПЛЫВАЕТ МИМО ИТАКИ

Что там за скалы, отмели? Это Итака.
Ты знаешь: здесь пчельник и масличный сад,
И верная жена, и одряхлевший пес.
Но видишь, как черная вода блестит под килем?

Нет, больше не смотри туда! Это
Всего лишь твое бедное царство. Руки
Себе самому не протянешь ты —
Тот, в ком уже нет ни печали, ни надежды.

Не обольщайся. Пусть промчится, уйдет за
левый борт.

Перед тобой распахнулось новое море:
Память человека, жаждущего умереть.

Плыви! Правь на другой, плоский берег,
Показавшийся вдали! Там, в пене прибоя,
Вновь играет ребенок, которым ты был здесь.

САН-БЪЯДЖО, БЛИЗ МОНТЕПУЛЬЧАНО

Своды, арки, колонны. Он знал:
Вы щедры на обещанья, но не держите слово,
Знал: ваши души, как и тела, тоже
Ускользают от наших жадных рук.

Как обманчиво пространство! Небесные зодчие,
Мгновенно слаживая и разбирая облака,
Нам все же дарят больше, чем наши, земные,
Привыкшие громоздить лишь свои мечты.

Грезил и он, однако в тот день
Нашел для прекрасного лучшее примененье.
Понял, что форме суждено умирать.

И вот его последнее творенье: монета,
Пустая с обеих сторон. В этом храме
Он превратил камень в лук и стрелу.

БОГ

Здесь покоится бог, который понимал
Не больше нашего. Не умел любить,
Как умеет даже ребенок. Был неловок,
Впадал в ярость, не зная просветляющих слов.

И который умер, не зная, к чему
Приложить свои силы, схожий в этом с нами.
Умер, непрестанно удивляясь бытию,
Как и мы удивляемся в конце жизни.

Был ли он чьим-то сыном? Да, мятежным:
Он нанес отцу оскорбленье и, в буйстве
Своей гордыни, решил умереть.

Но мечтал хоть недолго побыть живым,
Взяв за руку ребенка, которым не мог стать,
Хотя часто ронял такие же слезы.

ПОЭТ

Чего он хотел? Стать факелом
И броситься в море?
Он шел среди луж, блестящих
Между далью и небом,

Потом обернулся к нам,
Но ветер сдул с него буквы,

Хотя его рука сжимала
Миры, тканые из дыма.

Разметанные листы сивилл,
Клочья отчаянной речи.
О чем он? Мы не понимали.

Он твердо верил в простые слова,
Но вновь обернулась близью даль,
И ни зги в этих темных знаках.

КАМЕНЬ

Он пожелал, чтобы стелу,
Напоминающую, кем он был, выбрали
Среди плит песчаника, тех, что он,
Бродя по горной балке, сдвигал носком.

Щербинки, темно-красные пятна мха —
Сумятица, каждую из этих плит
Делавшая неповторимой, хотя и такой же,
Как все, — лучшей эпитафии не нужно.

Он мечтал, он умер. Где его могила?
Прохожий, если взойдешь на эти склоны,
Различишь ли ты слова, что он хотел вписать

В потрескавшийся камень? Расслышишь его голос
Сквозь гуденье мошкары? Или еще ниже
Рассеянно столкнешь носком его жизнь?

МОГИЛА ПОЛЯ ВЕРЛЕНА

Куда течет этот «неглубокий ручей»,
Пробежав в его стихах? Они твердо помнят:
Всегда близок берег, заросший густыми
Камышами желанья и воображенья.

Вечереет: вы судьи теперь, слова!
Сколько грязи в истине — не меньше, чем света!
Он о том не забывал, хотя — нелепый, пустой, —
Его лепет прыгал с камня на камень.

Смиренник из гордости, он согласился быть
В чужих глазах лишь зеркалом, ловившим
Облезлой, ветхой амальгамой небо.

Пусть видят: небо багровеет в нем так,
Как в просветах вечерней листвы, когда
Меркнет воркованье лесных горлиц.

ДЕТСКОЕ ВОСПОМИНАНИЕ ВОРДСВОРТА

Подобно ребенку из «Прелюдии», который,
Беспамятно шагая в лучах света,
Вдруг замечает лодку и, между землей и небом,
Прыгнув в нее, плывет на другой берег,

Но видит, что вдали выросла грозно
Черная гора, встав над другими горами,

И в страхе поворачивает назад, к тростникам,
Где вечностью дышит гул мельчайших тварей, —

Точно так же этот великий поэт
Продвигал свою мысль по сонной глади языка,
Веря, что можно спасти себя стихами.

Но беззвучные течения понесли его слова
Дальше, чем зашел в размышлении он сам.
Он устранился превзойти собственное желанье.

ЗАМЕТКИ О ГОРИЗОНТЕ

Поговорим о горизонте, друзья, разве мы можем говорить о чем-нибудь ином?

Мы всегда говорим о нем, точнее, в его присутствии. Когда строим планы на будущее, когда любим.

Когда любим: ведь любить — человека, дорогу, картину, стихотворение — значит видеть, что вон та далекая линия, светлая, сияющая, пролегает и здесь, рядом, что она не раз и не два пройдет через них: так море без конца набегает на песчаный берег, то взмывает, то опускает на песок шевелящиеся водоросли — неясную, таинственную жизнь.

Линия там, вдали, и линия здесь, совсем близко: и та и другая существуют для того, чтобы бросать нам под ноги пену бессознательного, — фразу, сверкающую на гребне темной, как ночь, волны, которая набухает, потом рушится, потом снова начинает вздыматься.

Я сворачиваю на эту дорогу, на узкую тропу между двумя невысокими взгорьями, деревья обступают ее все теснее, смыкают надо мной кроны, и я радуюсь тому, что она так хорошо мне знакома, со всеми бесчисленными живыми существами в глубине балки, давно ко мне привыкшими. А где-то далеко, дальше, чем птичий щебет, шум взмахивающих крыльев, шуршанье задетых веток, слышится иной звук, тихий, но бесперебойный: это гудит холмистый горизонт, всегда, пусть и незримо, меня сопровождая. И несет вот это, вершащееся здесь мгновение на своих ладонях, на голубых и охряно-красных склонах, время от времени открывающихся в просвете между соснами и невысокими дубками.

Это мгновение: с небом у меня над головой, напоминающим, что небо есть и вдали, что оно может смотреть поверх той черты, за которую мы, находясь здесь, заглянуть не в силах.

С красками, разлитыми вокруг нас, — оказывается, их тайна принадлежит именно этой черте.

И настойчивым криком птицы, похожим на зов. Должно быть, она тоже летит из другого, далекого мира, оттуда несет свое золото, несколько соломинок, чтобы сложить их в глубине гнезда, скрытого от наших глаз.

И его, горизонта, светом в лужах у нас на дороге, которые бог знает почему не спешат высыхать.

Бог? Обычный дождь, решивший пролиться здесь. А мог бы падать в стороне, чуть подальше в этом же перелеске: потому и воплощающий случайность, потому и божественный.

Для того, кто размышляет о горизонте, не существует бога, ему вполне хватает далей, скользящих от нижнего края неба, — так вода набегаёт на знаки, которые чертит на песке маленький ребенок.

И этот прибой внезапно усиливается, волна стирает знаки, день клонится к концу, ребенок перестает прислушиваться к гулу морской пучины, вновь оказываясь среди человеческих голосов и больших обнаженных тел.

Горизонт похож на камень, вынутый мной из ила, бугристый, с запахом соли во впадинках.

Горизонт в слове, блещущем сквозь другие слова, когда бессознательное в высшей точке своего прилива споласкивает чистой водой фразы, которые я, чтобы прозреть, разместил на самой границе сознания. Водоросли, взметнувшиеся вверх и снова падающие, речь, теряющая связность, но покрывающаяся на мгновение соленой водяной пылью, которая, может быть, и есть небо.

Слова даруют свой полный смысл лишь тогда, когда мы созерцаем предмет высказывания на одном

из горизонтов, «вдали». Здесь, в непосредственной близости, мы видим предмет слишком подробно, наша мысль льнет к бесчисленным внешним деталям, разворачивается во множество формул: все подчиняется нашему желанию обладать, включить в себя. В отдалении целое берет верх над частями, поэтому вещи там вновь становятся живыми существами.

Как у Пруста, когда тот видит вставшие в небе «мартенвильские колокольни». Они сразу же накладывают печать на всю его жизнь. Теперь на все здешнее он будет смотреть иначе, вспоминая этих жителей горизонта: стараясь выплавить в новом, более вместительном тигле такое же золото, каким стало для него тогда, в прошлом, их далекое обаяние.

Внутри слов тоже есть сизая даль — как грезящийся смысл в глубине вещи, о которой хочешь рассказать.

Думаю, я почти всем обязан горизонтам моих детских лет. Далеким и близким; широко распахнутым, с огромными облаками в небе, и уходившим за гору, куда, делая поворот, катила свои хмурые воды река.

А в самом большом долгу — употребляю это слово, потому что знаю: в последний день, покидая этот мир, надо будет расстаться со всем, что нам дарят

вода и огонь, небо и земля, — я перед местом, настолько мне знакомым, что, будь я устроен иначе, мог бы решить, что оно-то и есть «здесь», «здесь» как таковое. Местом этим была вершина невысокого вытянутого холма в каком-нибудь часе ходьбы от нас, — там, чернея в небе, виднелось большое дерево, достаточно далекое, чтобы выглядеть символом надмирной выси, и вместе с тем достаточно близкое, чтобы восприниматься как частица нашего мира. Поднявшись на холм до наступления вечера, когда жара только начинала спадать, и подойдя к дереву в еще не сгустившихся сумерках, можно было посмотреть сквозь его могучие ветви и на чужую, прежде не виданную долину, и на родной дом.

До чего же легко впасть в бесплодные мечтания, когда горизонт слишком далек! Или когда он слишком плоский и прячется за кустами, покрывающими широкую равнину, или, еще хуже, когда на изрядном расстоянии от нас хаотично теснятся холмики с пляшущими на склонах тенями и бликами, а кое-где — яркими красочными пятнами. Все, что мы видим на горизонте, предстает тогда непостижимо-отчужденным: и мерцание смутных огней, и блеск луж, и сгустки темноты, как будто застрявшей в его разломах! Можно вообразить, что он — не линия, а целая страна, захватывающая краешком и наши места, и те, другие. Страна, где все вещи, все обитатели, которых мы разглядываем в бинокль, живут, без сомненья, особой жизнью, не сопоставимой ни с тем, что нам знакомо

здесь, ни с дальними, неведомыми странами. Кто они, эти люди? По нашим дорогам до них не дойдешь. А их собственные заходят не слишком далеко: если бы мы пошли по ним, то, по-видимому, миновали бы незаметно для себя чужие края и обнаружили, что нас вновь окружают края родные.

Страна горизонта! Караваны, бредущие между нашей и другой, новой землей. Беженцы, уходящие в Египет; мы видим в бинокле, как они скрываются за длинной дюной и некоторое время спустя появляются много дальше. Мучительное бессилие окуляров. Сколько ни старайся, лиц не разглядишь: какие-то сверкающие пятна. Впору подумать, что это вообще не лица, так много исходит от них ослепительных, скрещивающихся друг с другом лучей! Может быть, золотые маски. Может быть, огромные, до предела расширенные глаза, придающие их обладателям даже там, на большом удалении, какой-то непривычный, нечеловеческий облик.

Одно из определений языка: здешнее, дышащее нездешним, его вдыхающее и выдыхающее, колоссальная, величиной с море, медуза, сияющая совпасть с миром.

Написанное стихотворение? Земля у нас под ногами, но мокрая, словно после грозы, изрезанная гигантскими колесами, которые уже прокатились мимо, скрылись. Земля, сплошь состоящая из этих, колея на колее, следов, мигающих краткими вспышками.

Я встречаю на пути лужу, останавливаюсь, поднимаю глаза, слышу, как вдали, под тучами, теперь неподвижно застывшими, блеет ягненок.

Скрипит калитка: примерно так мерцает роза, для себя одной. Роза из запретного сада, охраняемого попугаем с мертвенно-темными глазами.

В рассказе Мелвилла путник направляется из Питтсфилда к горе Грейлок: его притягивает окно, время от времени сверкающее на горизонте, который он разглядывает каждый день. Счастливы же те, кто там живет, думает он... И вот он приходит к этому дому, толкает калитку, входит в комнату и видит у окна девушку: она жадно всматривается в его собственный дом, маячащий вдали, в другом мире. Что заставляет его тут же уйти? Сочувствие, любовь. Разве своим уходом он не приносит ей величайший, может быть высший, дар? Возможность не гасить еле тлеющую, иллюзорную надежду, которая, как он понимает, в ту минуту составляет для нее единственное благо.

Так некоторые живописцы вдыхают человеческое тепло в пейзажи, почему-то — почему, мы, бывает, сразу и сказать не можем, — на всю жизнь врезающиеся нам в память.

А когда даль вдруг скрывается из виду, потому что там, где находимся мы, все тонет в снегопаде, в мгно-

венно налетающей непроглядной метели, взбаламутившей свет, тогда горизонт оказывается наконец совсем рядом с нами, мы можем до него дотронуться, мы вслепую переходим через него туда и обратно, мы впиваем овевающий его свежий воздух, — счастье, возможное только благодаря снегу.

Горизонт: само слово, мне, впрочем, не слишком нравится, я бы хотел заменить его другим. Таким, которое со своего крутого обрыва протягивало бы руку нашей речи, помогая взобраться к нему, за пределы зримого. Которое среди всех нас дарило бы наибольшую благосклонность художнику-пейзажисту, открывая ему будущее, столь нужное земле, столь для нее желанное, — и столь же хрупкое, ведь однажды она может со смертельной тоской увидеть, как эта чаша падает и разбивается вдребезги.

ОДНА ИЗ ВЕРСИЙ РАССТАВАНИЯ С САДОМ

Образ, постоянно возникающий в моих мыслях. Мужчина и женщина идут среди деревьев, которые местами стоят очень тесно, а то и переплетают почти легшие наземь ветви, так что эти два существа, прекрасные и юные, уже не раз замедляли шаг, раздумывая, стоит ли углубляться в лес, пробираться сквозь еле слышный душистый шелест потревоженной листвы. Они осматриваются, они, похоже, решили свернуть в другую сторону, но дело в том, что еще очень рано, утро только начинается, деревья редуют, ветви больше не стелются так низко, до опушки рукой подать, и вот она остается позади. Перед нами чуть всхолмленная равнина, зеленые, с мягким золотистым отливом, склоны, и легко представить себе, что там, за холмами, прячутся небольшие озера, пустынные, без единой лодки на тихой глади. Судя по всему, в этих просторах, залитых красивым, все заметнее прибывающим светом, нет ни души.

Они идут, эти двое, они вновь проходят через небольшие перелески, временами останавливаясь, пово-

рачиваясь друг к другу, и тогда при взгляде издали на две фигуры, застывшие между последним деревом и огромным небом, кажется, что они разговаривают и что молодая женщина указывает рукой на какие-то неведомые дали. Потом продолжают свой путь — впрочем, не остаются ли они там, где были, словно не трогаясь с места? И небо, и деревья, и незримые воды, что угадываются вдалеке, — все это, возможно, лишь картина, полотно в темно-зеленых тонах, которым мог бы заместить земной мир один из художников, живших примерно в 1660 году, продолжатель Пуссена, друг Гаспара Дюге, если бы из глубины этих таинственных лет подул наконец ветер и развеял листья под нашими ногами, оставшиеся после долгой зимы.

Картина. Твердо, как бы уверенной кистью живописца, обозначенные линии плеч, рук, ярко, даже, пожалуй, чересчур ярко написанные волосы и прекрасные обнаженные тела, и листва, и проглядывающие плоды, — картина, потому что я достоверно знаю, кто этот мужчина и кто эта женщина, идущие вот так под нашим взглядом по земле, которая, не появившись они здесь, оставалась бы безлюдной. Это Адам и Ева после события, названного, за отсутствием лучшего слова, Грехопадением. Они изгнаны из эдемского сада, они уходят из него медленно, не спеша, ибо время еще не началось. Существуют лишь разные состояния летнего неба над этой страной, где нет дорог, где все подчиняется только свету, который с улыбкой отделяет

друг от друга слишком бурно играющие краски, иногда наклоняясь, чтобы добавить силы той, что померкла, потерялась.

Так это Адам и Ева? Им предстоит скитаться целый день, а затем, ближе к вечеру, когда солнце, внезапно явившееся глазам, спустится вниз, в конце длинной песчаной дорожки вырастут ворота, поднимется ветер, небо на западе покраснеет и птицы на деревьях закричат совсем иначе. По ту сторону отворенных ворот будет ждать ночь, и два изгнанника не станут сопротивляться, они войдут в эту мглу и пойдут дальше, но сейчас они знают только это мгновение, только вневременное настоящее живописных изображений. Правда ли, что чей-то голос прорвал небеса, еще до того, как наступило это тихое утро? Чьи-то слова слышались в гуле, который прежде казался лишь журчаньем воды и шелестом листьев, какая-то пурпурная ткань сверкнула, на миг пробившись сквозь эти приглушенные тона? Они об этом не вспоминают, не думают.

Просто идут. Иногда я больше не вижу их, но не потому, что они скрылись за поворотом дороги, по которой уходят. Причина скорее в том, что мое внимание было отвлечено, и уже не раз, чем-то посторонним.

Надо сказать, что в этом краю стоит непробудная тишина. Далекое граянье сороки, мычанье коров где-то в лугах, стук камня, который оторвался от ска-

лы и скатывается в балку, — все эти звуки, рождающиеся здесь, в зримом мире, не только не нарушают царящего повсюду покоя, но, напротив, придают ему глубину, полноту, ясность, — как и усиливающаяся, несмотря на легкий ветерок, жара. И тишина эта мне нравится, но теперь, признаюсь, она меня тревожит, и не меньше, чем успокаивала прежде. Как если бы звук, который я только что услышал, был по природе своей совсем иным, чем, к примеру, лепет вот этого ручья, непрестанно плещущего в свои берега в двух шагах от нас.

Звук. Кажется, он прозвенел много дальше от меня и в то же время много ближе ко мне, чем все эти нестройные, ничего не значащие крики и шорохи. И я не смог понять, что же это был за звук, на удивление краткий, отрывистый. Отголосок музыкального инструмента, одинокой флейты-пикколо, долетевший сюда с равнин какой-то другой земли? Или человеческий голос? Я прислушиваюсь. И эти двое, снова появившиеся в моем поле зрения, говорят друг с другом, обсуждают происшедшее, но, похоже, решают забыть о том, что слышали и они. Пораженные, не верящие собственным ушам, они продолжают свой путь в мире, где день уже перевалил за половину, где утренние тени, до сих пор сохранявшие прозрачность, готовятся стать густыми тенями вечера.

Предвечерние часы, всегда самые замедленные, самые волнующие, потому что горизонт продвигает-

ся, краски начинают меняться. Я смотрю на этих людей, которых рисую в своем воображении, я иду по той же дороге, думаю о вечности и о времени, о красоте их тел, их движений, — чего только не приходит мне на ум.

Но вот один из кустов, к которым они подошли сейчас, дрогнул. Листва закачалась, словно там прятался человек, наблюдавший за ними и лишь в последнее мгновение пустившийся наутек. Человек? Вне всякого сомнения, ведь звери убегают иначе, оставаясь внутри своего «здесь» и своего «сейчас», — так отклоняется в сторону ветвь, которую мы случайно задели, проходя мимо. Он отбежит в сторону, ляжет в траву, потом внезапно вскочит на ноги, опять побежит прочь, остановится, застынет на месте и, судя по всему, задумается, пойдет назад. Человек, да, но очень худенький, легонький, необычайно гибкий и проворный. Может быть, это его призывный голос звучал по ту сторону видимого, его флейта предавалась мечтам? Так и есть: это ребенок, блуждающий в пустынной глуши, нагой ребенок, не знающий, кто он и что он.

И он действительно возвращается. Я знаю, что до конца этого дня, на время застывшего, а потом начавшего клониться к закату, еще не раз встречу его на пути мужчины и женщины: он будет тревожно ожидать, когда те покажутся вновь, страстно желать, чтобы его увидели, и столь же сильно бояться, что

это произойдет. Он дал им уйти вперед, потом нагнал их, и вполне может быть, что в конце концов эти двое заметят уставленные на них расширенные дикие глаза, но всего лишь на мгновение — ведь его взволнованный взгляд тут же скроет сомкнувшаяся листва.

Как трудно высказать себя! Молчание сродни воде, поверхности, куда мы погружаем руку, пытаюсь извлечь то, что блестит в глубине, на светлом песке, по которому пробегают тени, — но разве нам когда-нибудь удастся завладеть желанным предметом? Боюсь, нет: таинственное преломление лучей сбивает с толку, пальцы сжимают пустоту, мы все время остаемся ни с чем. — Они идут, шагают бок о бок, гаснущий день тоже тонет в этом блеске и этих тенях; теперь я вижу, что они прислонились к большому камню и разговаривают. Они одни, там больше никого нет. Так ли? В этой неподвижности чувствуется какое-то движение, светлая ткань вечернего неба подрагивает на крепнущем ветру.

Я снова, в который уже раз, думаю: этот ребенок, следивший за ними, хотевший броситься к их ногам, но почему-то подавивший свое желание, — когда он к ним приблизился? Может быть, он понял, что именно тогда, в тот день, все сразу же устремилось к концу, и ощутил, что его желание стало лишь сильнее, а потом, с еще более острым чувством печали или грустной радости, от него отказался, возобновив свои скитания

вне времени? Я размышляю над тем, когда — до или после этого дня — он сломал камышинку, пробудил ее от немоты, заставил петь, внес в нашу жизнь боль и надежду. А еще я думаю о том, почему меня так занимает живопись или, точнее сказать, живописный образ — эта вода, в которой сущее открывает нам себя еще раз, но уже как отражение, мягко растворяющее очертанья вещей в игре света и тени.

ЕЩЕ ОДНА ВЕРСИЯ

Они спасались бегством, полотно проклятия, сотканное из молний и дождя, облепляло их спины. Босые ступни скользили в грязи, натыкались на острые камни, цеплялись за колючие корни. Ноги проваливались, вязли в рытвинах. Юноша держал девушку за руку, и от этого в нем, как в ней, мелькало необычное чувство, не похожее на удивление или страх. Вдруг она вскрикнула, упала, по ее левой ноге струится кровь: такого красного цвета в мире раньше не было. Он помогает ей подняться, но лодыжка болит так сильно, что не дает ступить, и Ева, вынужденная опираться на Адама, еле бредет, хромая, сквозь неизвестность и навстречу неизвестности, под черным небом, дышащим такой же неизвестностью. Стемнело, и как быть теперь, как превозмочь эту боль? Все труднее дается каждый шаг в хаосе, не только обступающем снаружи, но и бушующем внутри этих двух людей, уже ни о чем не помнящих, желающих лишь одного: уйти отсюда, уйти как можно дальше. Впрочем, они не столько шагают, сколько стараются защититься от густых ветвей, которые осыпают их ударами, обдают

протянутые вперед руки струями воды. И не столько хотят оказаться по ту сторону этой чаши, бесконечной, беспросветной, сколько наконец остановиться, больше не идти под этим ветром и проливным дождем, забыть о голосе в небесах, продолжающем их терзать. Но можно ли забыть? И все сильнее, все неодоливей влечет их травяная постель, которая смутно блестит между расступающимися стволами, а теперь неожиданно начала излучать мягкий, переливчатый, манящий свет.

Они валятся наземь, опускаясь сначала на колени, на ладони, а затем ложась всем телом прямо в траву, мокрую от дождя, — но дождь теплый, словно кто-то все это им дарит; они лежат рядом, прижавшись друг к другу, и здесь, в тот самый миг, когда их впервые связывают взгляд, сострадание, желание, берет начало время. Проводя пальцем по раненой ноге Евы, Адам боится вызвать на приблизившемся к нему лице гримасу боли, — в сущности, это лицо открылось ему только сейчас, разве он видел его прежде? Глаза, в которых растет и тут же гаснет удивление. Губы. Адам и Ева друг друга видят, узнают и, как будет сказано позже, познают друг друга, все происходит очень быстро, и это уже новая торопливость, как, впрочем, и новый общий удел, соединяющий его и ее с чем-то для них незнакомым, в темноте, которая не похожа на ту, что окружала их прежде.

И опять рокошет, хотя глухо, в отдалении, небо, опять, хотя и реже, вспыхивают зарницы, а в кустах

рядом с настороженными мужчиной и женщиной слышны другие звуки, совсем тихие: плещут крылья, шуршат мельчайшие невидимые существа, и эти шорохи уже не пугают, а, скорее, обволакивают Адама и Еву иным полотном, тканью дремоты, которой раньше на земле тоже не бывало. Мир свободно проникает в них, внутреннее и внешнее смешиваются, перетекают друг в друга, какие-то формы разрушаются, какие-то рождаются из прежних, и трудно понять: что существует, что перестает существовать?

И первые сны, которые они видят, беспокойны, но порой, когда их руки соприкасаются, в этих видениях возникают просветы, а после пробуждения и небо уже выглядит не совсем так, как вчера: сквозь облака, все еще серые или черные, здесь и там пробиваются солнечные лучи. Нога болит меньше, и Ева чувствует себя уверенней, она готова встать и смело пойти дальше под этим туманным небосводом — да, но не надо ли сначала обдумать то, что началось в ночной близости, совсем новую жизнь, жизнь словесную, которую отныне определяет то, что они говорят, то, что было сказано, шепотом и словно в горячке, накануне?

И первой об этом заводит речь Ева, увлекаемая порывом, не вполне свободным, как я угадываю, от какого-то страха.

«Послушай, — говорит она вполголоса, склонившись над Адамом, чье лицо окрашивают лучи, падаю-

щие, как через призму, сквозь большие облака. — Вчера ты дал названия не всем вещам».

И тот отвечает: «Верно. Я дал название ручью. Потом увидел, что он расширяется, образуя небольшую заводь там, где среди прибрежных камней и камышей проглядывал песок отмели. Течение в этом месте было не таким быстрым. На воду села странная птица, она долго не шевелилась, потом встрепенулась, взлетела, почему-то вновь спустилась вниз, и вновь взлетела, и вернулась еще раз; я слышал негромкий шум на берегу, вдыхал какие-то запахи — чабреца, мяты, других трав, не так важно: все это, вместе взятое, существовало куда полней, чем песок, птица, шелест листвы, взятые по отдельности. И мне захотелось дать название этому мгновению, огромное название, единое и простое, — нет, не мгновению, тому целому, что составилось в эту секунду... Как бы точнее сказать? Этому глубокому покою. И тому просвету в вышине, между двумя облаками, который у меня на глазах медленно менял очертания, — синему, нет, не совсем синему, в такой же мере и розовому, золотисто-розовому. И еще — тем едва заметным следам, какие оставляет на песке отхлынувшая вода.

А потом откуда-то полыхнуло, и я увидел, как птица метнулась, забилась в песке, взмахивая крыльями, и песок поднимался в воздух, падал на нее, ее засыпал, затягивал, она несколько раз дернулась и больше не шевелилась. Мне расхотелось давать названия».

Ева смотрит на свои пальцы, играет ими: то разводит, то смыкает вновь. «Я бы хотела дать название, — говорит она, — лишь одной простой вещи: черноте, смолянному мраку внутри глаз, тому черному цвету, который существует тогда, когда, кроме него, ничего нет, когда ничего другого вообще не остается».

Они поднялись на ноги. Кровь на испачканной лодыжке Евы засохла. Осторожными движениями она счищает с кожи эти бурые потеки. Вдали еще ворчит гром, но нигде нет черного в его чистом виде: вокруг, как позже на полотнах живописцев, кипят краски. И мощными волнами набегают ливень, а потом, некоторое время спустя, возвращается небо, опять возникающая над тем, из чего словам еще предстоит создавать землю.

КОММЕНТАРИИ

ВЫГНУТЫЕ ДОСКИ

(2001)

ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ

Лягушки в сумерках. — ...*Золото спелого инжира.* — Библейское дерево познания добра и зла отождествлялось со смоковницей (а не с яблоней, как в поздней иконографии); в Древнем Египте смоковница и ее плоды были посвящены Исиде.

Камень. — ...*Непостижимый запах мяты.* — Мята, посвященная Афродите, здесь может намекать на любовные отношения, которые косвенно упоминаются и в некоторых других стихотворениях этого раздела.

Камень. — ...*красная ткань, ее сдвинутый край.* — Красный, цвет земли, в стихах Бонфуа нередко выступает как знак чувственного мира и, в частности, эротической близости. В то же время на картине Пуссена «Спасение Моисея», которая не раз обсуждается в прозе Бонфуа, красный — цвет платья дочери фараона, нашедшей младенца Моисея на берегах Нила, и в этом качестве он может символизировать присутствие матери (ср. стихотворение «Пусть этот мир живет!»).

Дороги. — ...*встречи с ним ждала / Церера...* — Страдающая Церера-Земля — один из сквозных образов поздней поэзии и прозы Бонфуа (см. вступительную статью к

настоящей книге). Как и ниже, в поэме «Родной дом», этот образ отсылает не просто к мифу о похищении Кору, но к сюжету из «Метаморфоз» Овидия, отраженному, среди прочего, в высоко ценимой Бонфуа картине Адама Эльсхаймера «Осмеянная Церера»: Церера, бродящая по свету в поисках исчезнувшей дочери, просит напиться в природной хижине; живущий в этой хижине мальчик, увидев, как она жадно пьет, смеется над ней, и богиня наказывает его за смех, превращая в ящерицу. На картине Эльсхаймера, которую Бонфуа анализирует в нескольких своих эссе, изображен момент, когда Церера пьет из чаши, поднесенной ей старой хозяйкой дома, а мальчик-насмешник указывает на богиню пальцем. Заметим, что и в этом стихотворении, и в «Родном доме» миф отчасти трансформируется и включается в более общий план: речь идет не о пропавшей дочери, а о ребенке вообще.

«Прохожий, вот слова...» — *...шелест настоящих ветвей...* — отсылка к одной из «Забытых ариетт» Верлена: *L'ombre des arbres dans la rivière embrumée / Meurt comme de la fumée, / Tandis qu'en l'air, parmi les ramures réelles, / Se plaignent les tourterelles. / Combien, ô voyageur, ce paysage blême / Te mira blême toi-même, / Et que tristes pleuraient dans les hautes feuillées / Tes esperances noyées!*» Ср. перевод В. Брюсова: *Деревьев тень в воде, под сумраком седым, / Расходится как дым. / Тогда как в высоте, с действительных ветвей, / Рыдает соловей. / И путник, заглянув к деревьям бледным, — там / Бледнеет странно сам, / А утонувшие надежды и мечты / Рыдают с высоты.*

На одном берегу. — *Мечтаем, что красота / Станет истиной...* — Ближайшим источником цитаты является «Ода греческой вазе» Китса: «Beauty is truth; truth, beauty» (отметим, что Бонфуа перевел эту оду на французский). Перевод В. Микушевича: «В прекрасном — правда, в правде — красота». Тема единства прекрасного и истинного развивается далее в поэмах «В мареве слов» и «Родной дом».

ДАЛЕКИЙ ГОЛОС

Во французском языке *голос*, *la voix*, — существительное женского рода, и это накладывает отпечаток на весь образный строй поэмы, создавая трудности для перевода, особенно в финале, где «далекий голос», уподобляемый в первых стихах маленькой девочке, сравнивается с Паркой. Тем не менее слово «голос» имеет для поэта исключительно важное, категоричное значение, и в данном случае не представлялось возможным транспонировать центральный образ поэмы в женский род — скажем, выбрав в качестве русского соответствия «песню» или «музыку».

VIII. «Не умолкай, близкий голос...» — *...Когда, говорят, тебя спуститься в зал / Позвала с замирающим сердцем Любовь?* — Цитируется один из «Сонетов к Елене» Ронсара: «*Le soir qu'Amour vous fit en la salle descendre / Pour danser d'artifice un beau ballet d'amour*» («В тот вечер, когда Амур позвал вас спуститься в зал, / Чтобы вы станцевали изощренный любовный танец»).

РОДНОЙ ДОМ

III. «Я проснулся в своем родном доме...» — *Первая, / У меня за спиной, — согбенная старуха / С недобрим лицом; вторая, предо мной, — / Стройная, прекрасная, как светильник.* — См. выше примечание о Церере-Земле и картине «Осмеяние Цереры».

IX. «Однажды, много позже...» — «*when, sick for home, / She stood in tears amidst the alien corn*» — цитата из «Оды соловью» Китса. В переводе Е. Витковского: «В печальном сердце Руфи в тяжкий час, / Когда в чужих полях брела она, / Все та же песнь лилась проникновенно».

...приметы / Далекой родины в чужом краю. — Ср. рассказ Бонфуа «Египет», где речь также идет о матери поэта:

«Ей так и не стали близки жители нашего города, куда им с отцом пришлось переехать в молодости и остаться на всю жизнь, — бездушные, говорила мать, недоверчивые, совсем не такие, как в ее родных местах, где больше всего ценили гостеприимство и сердечность» (*Ив Бонфуа*. Избранное 1975—1998. С. 14).

X. «Жизнь шла, и я вновь очутился...» — ...*На чердаке разрушенной церкви...* — В описании угадывается дом в Вальсенте (см. вступительную статью к настоящей книге), которому тем самым приписываются черты «родного дома». Таким образом, женская фигура, появляющаяся в этом стихотворении, сближается не с матерью, а с возлюбленной.

XI. «Я снова в пути...» — ...*Синие цветы чертополоха.* — Цитируется финал стихотворения Гюго «На дюне» (из книги «Созерцания»): «...l'on voit sur le bord de la mer / Fleurir le chardon bleu des sables». В этом стихотворении Гюго говорит о близком конце своей жизни, а финальные строки оттеняют общую меланхолическую тональность. Ср. две последние строфы в переводе А. Курошевой: «Воспоминанье, как раскаянье, язвит! / Во всем — лишь слезы и потери! / Коснувшихся тебя твой холод леденит, / О смерть, запор последней двери! / И, размышляя так, я слышу, как кругом / Стенают ветер и буруны; / Смеется летний день; на берегу морском / Цветет волчек песчаной дюны».

ДЛИННЫЙ ЯКОРНЫЙ КАНАТ (2008)

ДЛИННЫЙ ЯКОРНЫЙ КАНАТ (ALES STENAR)

Ales Stenar — «Камни Але» (по имени легендарного короля Скандинавии), сохранившееся в южной Швеции древнее надгробное сооружение викингов: 58 огромных, весом в несколько тонн, каменных глыб, расставленных так, что они воспроизводят очертания большого корабля (длиной 68 м и шириной 19 м).

I. «Говорят...» — *Говорят, / В небе плавают корабли...* — Рассказы о воздушных кораблях, плавающих в небе, содержатся в средневековых хрониках. Наиболее близок к версии, представленной в поэме, фрагмент старонорвежской летописи «Королевское зеркало» (*Speculum Regali*; рукопись *Konung Skuggsa*): в X веке жители небольшого ирландского городка во время воскресной мессы увидели, как из появившегося в небе судна сбросили на канате якорь, который зацепился за арку над церковным порталом; потом за борт прыгнул один из матросов: двигая руками и ногами как ныряльщик, спускающийся на морское дно, он «подплыл» к якорю и попытался его отцепить. Прихожане высыпали из церкви наружу и хотели схватить неизвестного, но епископ, присутствовавший на богослужении, удержал их, и тот поднялся обратно, после чего люди на борту обрубили канат, корабль взмыл вверх и скрылся из виду. Якорь остался в церкви как вещественный знак чудесного происшествия.

См. английский перевод этой летописи: <http://www.mediumaevum.com/75years/mirror/sec1.html>

ТЕАТР ДЕТЕЙ

Театр детей. — *«Я королева, — возглашает она, — ты король». Они действительно были королевской четой, откровение свершилось, испытание кончилось... — Аллюзия на стихотворение Рембо «Royaute» из книги «Illuminations»: «Un beau matin, chez un peuple fort doux, un homme et une femme superbes criaient sur la place publique: „Mes amis, je veux qu'elle soit reine!“ „Je veux être reine!“ Elle riait et tremblait. Il parlait aux amis de révélation, d'épreuve terminée...»* Ср. перевод М. Кудинова («Королевское утро»):

«В одно прекрасное утро, в стране, где жили кроткие люди, великолепная пара огласила криками площадь: „Друзья мои, я хочу, чтобы она была королевой!“ — „Я хочу королевою стать!“ Она смеялась и трепетала. Он друзьям говорил об откровении, о конце испытанья...»

Бескрайнее имя. — *...поскольку в имени Божиим семьдесят два слога, то в ее имени должно быть семьдесят два раза по семьдесят два слога.* — Число «семьдесят два» здесь, возможно, отголосок каббалистического учения, согласно которому Бог, не имеющий имени, может быть все же назван с помощью семидесяти двух трехбуквенных сочетаний из книги Исход (глава 14).

БОЖЕСТВЕННЫЕ ИМЕНА

II. «Мы спустились с гор...» — *...угадывается выдвинутая вперед нога, обнаженный торс и характерная широкая набедренная повязка, как у водоносов и писцов в Египте...* — Выдвинутая вперед нога, характерный элемент некоторых египетских статуй, символизировала движение в вечности. Египет часто упоминается в произведениях Бонфуа как идеальная страна, где реальность еще не была скрыта завесой знаков, где было ощутимо дыхание Единого

и преобладала целостная интуиция бытия, не разрушенная логико-понятийным мышлением. «Древний Египет — это цивилизация, которая, видимо, особенно близка к бессознательному, потому что она использует в своей письменности рисунки, а их значение создается иначе и оказывается более широким, чем можно подумать вначале» (Из интервью журналу «Слуховое окно». См.: *Entretien avec Yves Bonnefoy // L'Œil-de-Bœuf*. 1994. N 4. P. 40—41).

ПРОХОЖИЙ, ХОЧЕШЬ УЗНАТЬ?

I. «Прохожий, хочешь узнать...» — *Только Бог не является знаком...* — Особенность семиологии Августина, изложенной главным образом в первых книгах трактата «О христианском учении», состоит в том, что он вводит двойную систему различий, охватывающую и знаки, и предметы. Знаки у него делятся на естественные (знаки-предметы) и условные (прежде всего слова); предметы, в свою очередь, могут быть и предметами-знаками, указывающими на другие предметы, и предметами как таковыми. Последнее различие Августин обосновывает функциями использования и наслаждения: предметы, которые мы используем, подобны знакам; предметы, которыми мы наслаждаемся, суть предметы как таковые. Наслаждение предметом есть акт любви к самому этому предмету, использование же предмета есть акт, направленный на другой предмет, который и является объектом любви. В конечном счете оказывается, что истинное наслаждение в этом мире доставляет только Бог: поэтому Бог невыразим в слове и не может быть знаком.

II. «Читавший задумался, потом...» — *...Ее худые руки, в копоти от дыма... / Очагов, на которые ставили чугуны.* — В уже упомянутом рассказе Бонфуа «Египет» изображена деревенская сумасшедшая, которой приданы схо-

жие черты: «...можно было видеть, как, присев на корточках, она помещивает угли под своими черными чугунами. Я любил ее, мне казалось, это сама земля, старая, косноязычная земля, чье увядание я так остро чувствовал в пустеющих деревьях, в последних шестивиях, призывавших ясную погоду или дождь, в последних песнях на местном говоре, которые еще пели крестьянки, пасшие на выгонах гусей» (Entretien avec Bonnefoy. P. 16).

III. «Входи, повторяет он...» — *Он и она рано или поздно / Упадут наземь...* — Ср. финал стихотворения Рембо «Заря» из книги «Озарения»: «L'aube et l'enfant tombèrent au bas de bois» (в переводе М. Кудинова: «Заря и ребенок упали к подножию рощи»). Рембо изображает момент своеобразной инициации, перехода ребенка во взрослое состояние. В стихотворении Бонфуа речь идет скорее о смерти и расставании с землей.

ПОЧТИ ДЕВЯТНАДЦАТЬ СОНЕТОВ

Сонетная форма не выдержана в одном из девятнадцати стихотворений цикла: «Дерево на улице Декарта».

Могила Л.-Б. Альберти. — Речь идет о так называемом храме Малатеста — церкви Святого Франциска в Римини; во втором катрене подразумевается письмо Л.-Б. Альберти от 14 ноября 1454 г., в котором он просил Маттео де Пасти, руководившего строительством, не отступать от проекта, иначе «будет разлажена вся эта музыка». Церковь осталась недостроенной.

Могила Шарля Бодлера. — В первом катрене подразумевается предсмертная, длившаяся более года болезнь Бодлера — паралич и тяжелая афазия; во втором — цитируется бодлеровское вступление к «Искусственному раю», адресованное неизвестной женщине, чьи инициалы J. G. F. упомянуты ниже, в первом терцете: «Ты увидишь в этих

набросках одинокого, угрюмого путника, затерявшегося в подвижных волнах толпы и уносящегося сердцем и мыслями к далекой Электре, которая так недавно еще отирала пот с его чела и освежала его лихорадочно-запекшиеся губы, — и ты поймешь благодарность Ореста, которого ты оберегала от кошмаров, рассеивая легкой материнской рукой его ужасные, мучительные сны». [Пер. В. Лихтенштадта (с небольшим изменением)]. Этой женщине посвящено также стихотворение «Самобичевание» из «Цветов зла».

«Facesti come quei che va di notte...» — Название — цитата из Данте (Чистилище, песнь XXII, ст. 67). Вся терцина в переводе М. Лозинского: «Ты был как тот, кто за собой лампаду / Несет в ночи и не себе дает / Но вслед идущим помощь и отраду». Под «двойным» сияньем, видимо, подразумевается аллегория (иносказание) с ее буквальным и скрытым смыслом; шире — поэзия как таковая, которую олицетворяет Вергилий.

Осмеяние Цереры. — Об этом сюжете см. примечание к стихотворению «Дороги».

Дерево на улице Декарта. — Это стихотворение воспроизведено рядом с картиной П. Алешинского «Дерево» на стене дома, находящегося в центре Парижа, на пересечении улиц Декарта и Муфтар.

Изобретение семиствольной флейты. — Мифологический сюжет: Пан, разгневанный тем, что нимфа Сиринга им пренебрегла, превратил ее в тростник и сделал из него семиствольную флейту.

Могила Джакомо Леопарди. — Образ луны восходит к стихотворениям Леопарди «К Луне», «Ночная песнь пастуха, кочующего в Азии».

Могила Стефана Малларме. — В этом сонете проглядывают метафоры и темы самого Малларме: парус как чистый лист бумаги, плаванье как поэтический акт, солнечный закат как катастрофа, кораблекрушение. Отзыв Малларме о

Гюго известен со слов третьего лица. Речь идет о стихотворении «Закаты».

Двухцветный шарф: борозда на реке. — Эта деталь, видимо, отсылает к одной из наиболее известных фотографий Малларме, снятой за два года до его смерти Надаром. Черно-белый шарф, в котором на ней запечатлен Малларме, может быть осмыслен как метафора письма (черное на белом) и, через нее, как отражение темы созвездия из «Броска костей».

Автору «Ночи». — Имеется в виду Ги де Мопассан и его новелла «Ночь (Кошмар)» из сборника «Лунный свет».

Сан-Джорджо Маджоре. — Архитектор Андреа Палладио, в Венеции.

На три картины Пуссена. — В первом катрене подразумевается полотно Пуссена «Аполлон и Дафна» (1664), которое было написано им в последний год жизни и осталось незавершенным. «Рождение Вакха» написано в 1657 году, а «Автопортрет» известен в двух вариантах, 1649 и 1650 года (здесь, вообще говоря, могут иметься в виду оба).

...его рука умирает. — Как известно, в последние десять лет жизни Пуссен страдал болезнью Паркинсона, вызывающей сильную дрожь в руках; поздние его картины отличает неуверенность мазка.

Сан-Бьяджо, близ Монтепульчано. — Архитектор Антонио да Сангалло.

Поэт. — Речь идет об американском поэте Харте Крейне (1899—1932), который покончил с собой, бросившись с борта корабля в Мексиканский залив.

Могилы Поля Верлена. — ...«неглубокий ручей»... — Точная цитата из стихотворения Малларме «Надгробье», посвященного памяти Верлена. У Малларме ручей символизирует и смерть, и поэзию. «Воркованье горлиц» — из того же стихотворения.

Детское воспоминание Вордсворта. — Имеется в виду эпизод из «Прелюдии» Вильяма Вордсворта (книга I, ст. 357—424).

ЗАМЕТКИ О ГОРИЗОНТЕ

«Мартенвильские колокольни» — одно из самых ярких детских впечатлений Марсея, героя прустовской эпопеи. Короткий этюд о мартенвильских колокольнях, сочиненный тогда же, в детстве, он воспроизводит, «почти не изменив», в «Комбре», первой части романа «По направлению к Свану».

Роза из запретного сада, охраняемого попугаем с мертво-темными глазами. — Образ из волшебной сказки. Возможно, восходит к «Истории Блондины» графини де Сегюр.

В рассказе Мелвилла путник направляется из Питтсфилда к горе Грейлок... — Подразумевается рассказ Мелвилла «Веранда».

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Марк Гринберг. Сквозь слова</i>	5
--	---

ВЫГНУТЫЕ ДОСКИ

(2001)

Летний дождь

Летний дождь

Лягушки в сумерках	35
I. «Хрипло кричали в сумерках...»	35
II. «Вечерами они допоздна сидели...»	35
Камень	37
Камень	38
Летний дождь	39
I. «Но вот из наших воспоминаний...»	39
II. «И, едва он кончился...»	39
Камень	41
Камень	42
Дороги	43
I. «Дороги: прекрасные дети...»	43

II. «И он уводил туда...»	43
III. «Наверно, встречи с ним ждала...»	44
Вчерашнее, незавершившее	45
Камень	46
Камень	47
Пусть этот мир живет!	48
I. «Выпрямляю сломанную...»	48
II. «Пусть этот мир живет...»	48
III. «Пусть этот мир живет!...»	49
IV. «Пусть все, чем наполнено зренье...»	49
V. «Пусть этот мир живет...»	50
VI. «Пей, говорила женщина...»	51
VII. «Земля подошла к нам...»	51
VIII. «И еще: лето...»	52
Голос	54
I. «Все это, мой друг...»	54
II. «И пусть наша жизнь будет...»	54
Камень	56
«Сдвигаю носком...»	57
«Равно исчезают...»	58
Камень	59
Камень	60
«Прохожий, вот слова...»	61
«На камне, покрытом...»	62
Дождь над балкой	
I. «Сеется дождь над горной балкой...»	63
II. «Летние дожди по утрам...»	64
III. «Встаю, вижу...»	64
На одном берегу	
I. «Иногда случается зеркалу...»	65

II. «Мечтаем, что красота...»	65
III. «Позже мы услышим...»	66

Далекий голос

I. «Я слушал, потом испугался, что больше не слышу...»	67
II. «Иногда я слышал его за стеной...» . . .	67
III. «И я любил этот голос, любил этот звук...»	68
IV. «И жизнь прошла, но тебе не дала заглухнуть...»	69
V. «Он пел, но так, словно спрашивал себя...»	69
VI. «И никто не отпил из стакана...»	70
VII. «Не умолкай, танцующий голос...» . . .	70
VIII. «Не умолкай, близкий голос...»	71
IX. «Он пел: „Я есть, меня нет...»	72
X. «Да, это была тень...»	72
XI. «Он пел, и эта песнь помогала...»	73

В мареве слов

I. «Вновь, и в этом году, дремота лета...» . .	74
II. «А теперь...»	80

Родной дом

I. «Я проснулся в своем родном доме...» . .	84
II. «Я проснулся в своем родном доме...» . .	85
III. «Я проснулся в своем родном доме...» . .	85
IV. «В другой раз...»	86

V. «А теперь в том же сне...»	87
VI. «Я проснулся, но уже в пути...»	89
VII. «Помню, было летнее утро...»	90
VIII. «Открываю глаза: родной дом...»	91
IX. «Однажды, много позже, мне довелось...»	92
X. «Жизнь шла, и я вновь очутился...»	93
XI. «Я снова в пути...»	94
XII. «Истина и красота, но волны встают...»	95

Выгнутые доски

«Человек, стоявший на берегу...»	97
--	----

По-прежнему слепой

По-прежнему слепой

I. «В этой стране...»	101
II. «Бог...»	104

Неведомое золото

I. «И другие, множество других...»	106
II. «Но есть и другие...»	108
III. «Они говорят со мною...»	110

Бросаем камни

Едем быстрее	111
Едем дальше	112
Бросаем камни	113

ДЛИННЫЙ ЯКОРНЫЙ КАНАТ
(2008)

Беспорядок	117
Длинный якорный канат (Ales stenar)	132
Америка	137
Театр детей	148
Театр детей	148
Бескрайнее имя	149
Деревья	156
Разинув рот	163
Художник по имени снег	166
Божественные имена	168
Прохожий, хочешь узнать?	175
Почти девятнадцать сонетов	183
Могила Л.-Б. Альберти	183
Могила Шарля Бодлера	184
«Facesti come quei che va di notte...»	184
Осмеяние Цереры	185
Дерево на улице Декарта	186
Изобретение семиствольной флейты	186
Могила Джакомо Леопарди	187
Малер, Песнь о земле	188
Могила Стефана Малларме	188
Автору «Ночи»	189
Сан-Джорджо Маджоре	190
На три картины Пуссена	190
Одиссей проплывает мимо Итаки	191
Сан-Бьяджо, близ Монтепульчано	192
Бог	193
Поэт	193
Камень	194
Могила Поля Верлена	195

Детское воспоминание Вордсворта	195
Заметки о горизонте	197
Одна из версий расставания с садом	205
Еще одна версия	212
Комментарии	217

Ив Боифуа

**ВЫГНУТЫЕ ДОСКИ.
ДЛИННЫЙ ЯКОРНЫЙ КАНАТ**

*Утверждено к печати
Редколлегией серии «Библиотека зарубежного поэта»*

Редактор издательства *Т. Л. Ломакина*
Художник *Е. В. Кудина*
Технический редактор *И. М. Кашеварова*
Компьютерная верстка *Л. Н. Напольской*

Лицензия ИД № 02980 от 06 октября 2000 г.
Сдано в набор 12.01.12. Подписано к печати 5.05.12.
Формат 70×108 ¹/₃₂. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 10.5. Уч.-изд. л. 7.2.
Тираж 1000 экз. Тип. зак. № 3339. С 171

Санкт-Петербургская издательская фирма «Наука»
199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, 1
E-mail: main@nauka.nw.ru
Internet: www.naukaspb.com

Первая Академическая типография «Наука»
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12

ISBN 978-5-02-025463-3



9785020254633

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ФИРМА
«НАУКА»**

ГОТОВИТ К ВЫПУСКУ

ПОЭЗИЯ ГАЛИСИИ

Поэзия Галисии (исторической области на северо-западе Испании) чрезвычайно богата и разнообразна. Уже в XIII веке на галисийском языке существовала виртуозная лирика, созданная трубадурами и вошедшая в золотой фонд мировой литературы. Правда, затем — в силу ряда исторических причин — галисийский язык оказался под запретом. Новый расцвет литературы в Галисии начался в эпоху романтизма творчеством великой поэтессы Росалии де Кастро. В конце XIX—начале XX века появилась блестящая плеяда галисийских поэтов: Эдуардо Пондаль, Мануэль Куррос Энрикес, Рамон Кабанильяс, Эдуардо Бланко Амор. Стихи на галисийском языке создавали также великие поэты Испании Рамон дель Валье-Инклан и Федерико Гарсиа Лорка.

Настоящая антология впервые позволяет русскому читателю познакомиться с лучшими образцами галисийской поэзии — от XIII века до гражданской войны (1936—1939) в Испании. Открывает антологию обстоятельный очерк, в котором впервые на русском языке проанализирована восьмивековая история галисийской литературы. Многие переводы выполнены специально для данного сборника.

Для всех интересующихся историей мировой литературы и поэзии.

Ознакомиться с информацией об Издательстве, планах выпуска и наличии книг для реализации можно на сайте Издательства www.naukaspb.com

